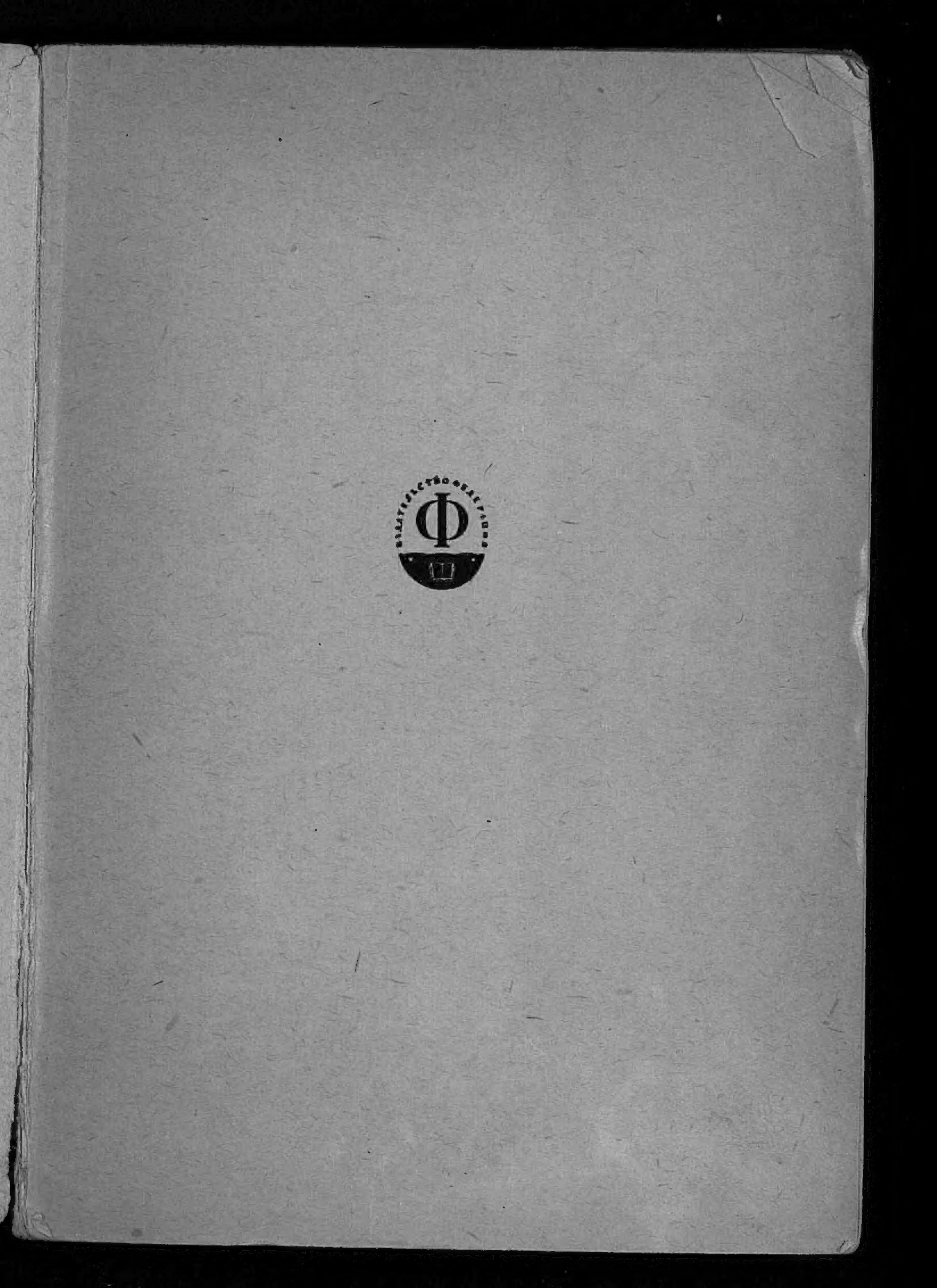


К32 6/82
ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ
В ОКОПАХ
1930
ФЕДЕРАЦИЯ
ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ — В ОКОПАХ


Ф



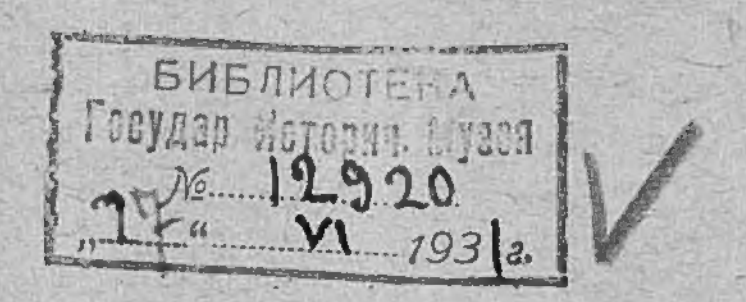
ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ

В ОКОПАХ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА
1930

Обложка работы А. С. Левина



Государственная тип. им. Евг. Соколовой,
Ленинград, пр. Красн. Командиров, 29
Главлит № А 59532. Тираж 7.070—8 л.
Заказ № 1209

А. Н. Тихонову.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд мчал маршевые роты к границе.

— На войну, значит, братцы, едем, — может и не доведется с тятьком больше повидаться.

— Тятька, тятька, — у меня Степанида с тремя малолетками осталась, вот ей горюшко мыкаться. Ваське-то, моему старшему, всего девятый годок пошел.

— А я уехал, так и не дождался письма из дома — Аксинья моя на-сносях ходила. На войну, чать, братцы, едем. Это вам не баран начхал.

— Я на ярмарке в Туле кобылицу жеребую купил, телегу новую справил, спицы в красный цвет выкрасил, блестят на солнце — сердце млеет глядючи, свадебку отпировал — и прощай, моя молодуха!

— Не успел я дележки с братом покончить — обделят теперь мою Глашку. Жеребец по весне здох, без него, кормильца, беда.

— Чего разнюнились, ребята, война-то, говорят, через месяц-другой и кончится.

Погуторив еще немного, люди засыпают.

От махорочного дыма, от запаха пропотевших ног и выпускаемых, как бы тяжелых вздохов, газов — трудно дышать. Если б сейчас свежая струйка воздуха!

Слышу — встал человек, загремел тяжелым засовом широкой вагонной двери.

— Задувает под утро-то, холодно.

Другой голос:

— Чего ты, нешто замерз? Уж давненько, как из дома, не отвык без бабы спать, что ли? Какой зябкий! Зачем дверь закрываешь, и без того дыхания нет никакого.

Улеглись — дверь не закрыли.

Утро. Необходимо вылезать из своей берлоги. Больше я не в состоянии тут находиться. Будь, что будет — вылезаю из-под нар.

— Вот оказия! Что оно такое?

Меня не удивляет такой вопрос. В самом деле — какое-то маленькое существо в странной форме, с огромной санитарной сумкой.

— Ты откуда взялся?

— Я... я... Сережа... Мне пятнадцать лет, возьмите меня с собой на войну. Пожалуйста, возьмите, я вас очень прошу. Разрешите мне ехать с вами. Я хочу в солдатах служить.

— На кой он нам ляд, ребята? Высадить его!

— Брось, Митрич, пущай едет. Может и пользителен окажется.

— Так, с виду, вроде как бы мой Петька. Лицом малость несхож, а по форменности своей и вовсе как мой сынок. Пущай едет!

Меня напоили чаем. Один из солдат развязал свой вещевой мешок, достал оттуда домашние крендельки — угощал.

Небольшая станция. Выскочили все из вагона. Солдаты, ослабив пояса, ринулись кто куда. Перепрыгнув канаву, я бегу к виднеющимся кустикам. Увы! место занято. Беру другое направление. Расплывшееся в улыбку добродушное лицо солдата недоумевает:

— Чего сорвался, места, что ли, не хватит?

На полу в вагоне котелки, наполненные щами. Густой пар подымается вверх. Люди расположились кружком, поджав под себя ноги, наслаждались хлебая ароматные щи.

— На, наворачивай!

Вытягивая ложку из голенища, белобрысый веснущатый солдат протянул ее мне. Никогда дома я не ела с таким аппетитом, как сейчас: я была очень голодна.

Вторую ночь я спала на нарах. Солдат, очевидно, думая, что мне холодно, укрывал меня шинелью. Жарко. Сбрасываю с себя шинель.

— Спи, чего крутишься?

Станция Казатин. На платформе толпа народа Между шпалерами жандармов проходит высоченного роста, с одутловатыми щеками и лицом шафранного цвета — генерал. Подходит к нашему поезду и обращается с короткой речью к солдатам. Он бросает последние слова своей речи:

— За веру, царя и отечество с богом, солдатики, на фронт! — и как-то вкривь улыбаясь, подняв голову, старческим голосом выкрикивает: — Ура!

Слышится чей-то вырвавшийся из толпы крик:

— Родненькие, куда ж вы?

Усиливаются рыдания. Бравурней оркестр. Медленно отходит поезд.

После пятидневного путешествия нас выгрузили на станции Броды. Пройдя по центральной улице грязного обшарпанного городишка, роты остановились у большого серого здания. У ворот надпись: «Штаб N-ой армии». Здесь пополнение томительно ожидало дальнейших распоряжений и маршрута следования. Наконец из дверей штаба вышли офицеры, раздалась команда: «Равняйсь, по порядку номеров рассчитайсь!» — и снова зашагали люди.

Толпы мальчишек, группировавшихся возле

третьей роты, с которой я шла, доводили меня до отчаяния.

Проходя мимо комендатуры города, роты немного задержались. Мальчишки снова обступили меня. Комендант города, усатый ротмистр, подозвав к себе командира роты и показывая ему на меня, отчеканил:

— Поручик, это не годится. Запрещено всяким мальчишкам добровольцам следовать за полками. Обуза от них. Завтра по этапу отправить на родину.

Я не могу сдерживать слез, руки трясутся, силясь расстегнуть санитарную сумку. Вытаскиваю оттуда первый попавшийся бинт. Обильно сморкаюсь. Так вот для чего понадобился мой первый перевязочный бинт!

В камере со мной на койке сидит женщина. Она берет жестяную кружку, брызгает из нее воду на красный носовой платок. Прикладывает к багряному синяку под глазом. На голове у нее коричневый платочек, тугим узлом стянутый у шеи. Женщина лезет руками под платок — чешется. Лоскутья ее грязного платья едва прикрывают сухое тело. Смотрит на меня, из-за пазухи достает помятые папиросы, предлагает закурить. Я отказываюсь. Оттопырив нижнюю губу, женщина кривит рот:

— Ты, говорят, девка, на фронт задумала?

Дело! Потребность у охфицеров большая имеется.

Женщина вдруг закинула свои ноги и, примостившись головой у меня на коленях, поблеклыми глазами уставилась на меня.

— Т-а-а-к! Приятственно. С удобством. Сиди да не крутись, как дерьмо в проруби.

Я сидела напряженно. Боялась шевельнуться. Опять обведя меня устало глазами, женщина зевнула. От нее дурно пахло. Через минуту она спала.

В коридоре чьи-то быстрые шаги, и снова тихо. Я не знаю, сколько прошло секунд, минут, часов — казалось, застыл ход времени. Мне хотелось пить. Жажда жгла горло. Жестяная кружка стояла на полу, носовой платок женщины прикрывал ее. Убрать голову спящей с колен... Взять воду и напиться... Но я не хочу тревожить сон незнакомки, мне жаль ее будить. Крепко сомкнуты ее веки, и на багряный синяк падает тень от ее платка. Какой-то странный ободок у корней ее длинных ресниц... Я всмотрелась. Казалось, сапожная щетка заходила по моей спине. Странные насекомые клещами впились в кожу у прекрасных ресниц... Одно такое чудовище оторвалось на мгновение и, переменив позицию, вновь присосалось. Женщина взметнула рукой, сдвинула платок на голове. В выбившихся волосах ее — пух. Чуть приподняты тонкие брови, нос покрыт мелкими прыщами, и под ним тонкой коркой засохла

сопля. Узлы оборванных и связанных шнурков на желтых туфлях женщины запачканы в белилах. Под загнувшейся юбкой оранжевая тряпка красивым бантом завязана на рваном чулке. Причмокнув языком, женщина простонала — перевернулась на бок. Слегка приподняв ее голову, я наклонилась к воде, сбросила платок и поднесла кружку к губам. Резкий удар по моему локтю — вода расплескалась.

— Не пей, девка, я с сифоном хожу!

Женщина чиркнула спичкой и задымила папиросой.

В камеру постучали:

— На станцию! К отправлению по этапу! Вставайте, потаскухи!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Живу в землянке с двумя разведчиками: Сашкой Гусевым и Трофимом Терехиным. У Сашки белые курчавые волосы, темные брови, и глаза у него синие-синие. Мы пообедали. Сашка облизал свои яркие губы, цвета спелой малины, вытер пот со лба, расстегнул ворот гимнастерки, из-под которой виднелась его кумачевая косоворотка, встал с тумбочки и, расставляя свои руки в стороны, расправил широкие плечи.

— Сашка, подбери шнурок, ротный увидит, попадет тебе, — говорит Терехин.

Его дремучая борода, волосы-чернозем еще больше подчеркивали белизну сашкиных кудрей. Трофим поел кашу, поднялся с лежанки и принялся отбивать поклоны, часто осеняя себя крестным знамением. Сашка смотрит на него — ухмыляется и прячет черный шнур с длинными кистями, которым подпоясана его косоворотка. Одернул гимнастерку — кисти шнура спрятались под ней.

— Чего ты пошел, думаешь, тут сладко? Часом так замаешься, така усталость, косточки все выламывает, а без сна какое томление. Иной раз так дойдет, ходишь как во хмелю. А тут, глянь, и начальство: чести не отдал — ан и в рыло ротный либо фельдфебель хлобыснет, тут и вовсе обомлеешь. Нет, паренек, сидел бы дома-то, чать не работал — ишь руки-то какие у тебя.

При воспоминании о доме у меня сжимается сердце. Что сейчас с мамою? Как отнеслась она к моему бегству? Помню ее задумчивые темно-серые глаза, гладко причесанные черные волосы, собранные на голове в тяжелый узел. Мать была занята не только нами, нам нехватало заработка отца, и она давала уроки музыки. Моя сестра Валька, всегда болезненная, прозрачно-хрупкая, временами побаивалась меня, несмотря на то, что была старше только на три года. Мне было нетрудно поднять Вальку одной рукой, богатырски сжать ее фигурку, закинуть немного на себя и отбросить в сторону... А отец? Образ отца живо

встает перед глазами... Кабинет. Большой зеленый стол и книги, рукописи и масса стеклянных пробирочек. Отец открывает пробирку, вынимает оттуда содержимое, бережно кладет на стол. Это — бабочка. Снова берет пробирку, опять рассматривает бабочку, а затем накалывает ее на булавку. У отца много скляночек, бутылочек, а в бутылочках спирт, и в них занятные жуки. Отец целыми днями сидит у себя в кабинете и что-то пишет. Когда я, бывало, заходила к нему, он усаживался со мной на диван и задавал мне всегда один и тот же вопрос:

— Ну, как дела, Зинаидище?

Потом закуривал свою огромную трубку и предлагал мне черное баварское пиво, которое всегда было под письменным столом. Помню, когда мне было лет шесть, однажды все домашние ушли из дома, поручив меня отцу. Очевидно он был слишком занят в этот вечер. Как и все дети, я была очень любознательна. Вначале отец терпеливо относился ко всем вопросам, а потом ему и надоело и некогда было вдаваться во всевозможные разъяснения. Он предложил мне пиво. Пива я не любила, но мне нравилась процедура его наливания. Оно так занятно пенилось! Незаметно для отца я понемножку наливала пиво в стакан и глотала маленькими глоточками и снова наливала, оно пенилось, меня это забавляло. Проделав так несколько раз, я опьянела и заснула, чем и изба-

вила отца от дальнейших хлопот. Но зато на утро я позорно скрылась из кабинета: кожаный диван был влажный, и по нему стекали ручейки.

При воспоминании об отце мне становится очень грустно — я встаю и быстро выхожу из землянки.

Бренчание котелков, лязг лопат. Суетятся солдаты. Запрягают лошадей. Экипаж командира полка подъезжает к землянке с таким шиком, словно это подъезд большого дома. Старичок-полковник уезжает. Люди все в сборе. Не прошло и часа, как командир полка возвращается обратно. Говорят, что он ездил в штаб дивизии, в деревню Гай. Ему подводят оседланную лошадь. Какая красивая кобылица, вот если б мне на коня! Лошадей я очень люблю, и не было мне и восьми лет, как я уже отлично ездила верхом. Подошел Гусев и сказал мне, что мы выходим из резерва и отправляемся на позицию.

Полк построился. Я иду с четвертым взводом третьей роты. Льет дождь, размывая глину в липкую грязь, ноги скользят, разъезжаясь в стороны. Отставать нельзя. Я хочу итти за ними, у меня большое желание увидеть позицию, окопы и посмотреть, что там делается на войне. Мы уже пять километров идем без остановок. Наконец замедляем ход и останавливаемся. Небольшой привал. Люди не успели закурить, как снова раздалась команда офицера. Солдаты собираются, строятся

в ряды, двигаем дальше. У Терехина припухла щека, наверное флюс, он не отнимает ладони от щеки.

— Долго ли шагать-то будем, — ругается Трофим и, нажав пальцем ноздрю, опять ворчит: — Чего вяжешься, без тебя хорошо.

Поднял конец шинели, вытер нос.

Слева от нас по шоссе тянулись повозки беженцев. Их низкорослые лошадки, с трудом перебирая ногами, силились вытянуть кладь.

Корыта, ведра, сундуки, связанные в узлах пестрые ватные одеяла и подушки, все было наброcано в беспорядке. Привязанные к ведрам куры кудахтали и, не находя себе места, обильно пачкали вещи.

Изнуренные лица женщин. Притупленный взгляд мужчин.

На повозке пищал ребенок, отчаянно теребя грудь матери.

— Ать-тя, ать-тя, — кричит мальчишка и бьет батогом лошадок. Напрягая последние силенки, тащатся пегие. — Ать-тя, ать-тя, — снова кричит черноглазый, и, не успел он замахнувшись ударить лошадь — пегая упала.

Быстро вскочил на ноги ее семилетний хозяин. С повозки выскочила мать черноглазого.

Пегая лошадь лежала не двигаясь.

Повернув голову, уставился на свою подругу конь и протяжно заржал. Мальчик, не выпуская из рук батога, чесал свой вихрастый затылок и

растерянно смотрел на мать. Галичанка, поджав тонкие губы, выпрягала коня. Солдаты помогли ей оттащить кобылу в канаву.

Женщина подошла к повозке, взяла на руки грудного ребенка, и пошли они с черноглазым, покинув свой скарб.

Вслед за ними, опустив голову, плелся одинокий конь.

Пока я не отстаю от полка, но чувствую, что ноги мои слишком тяжелы, не то ли от усталости, не то ли от этих больших сапог, которые мне выдали в полку. Нога так и ерзает в них. Огромные, чудовищные сапоги. А скинуть, пожалуй, будут смеяться — надо терпеть.

Идем, отдыхаем очень мало. Я не жду больше привала. Моим ногам становится значительно хуже, когда я немного посижу. Они еще больше тяжелеют, кажется, что к ним прилипло десять пудов грязи, я еле их волочу.

— Идешь, малец? — говорит подошедший фельдфебель. Лицо его все изрыто оспой, и за это солдаты его прозвали «рашпилем». Он подходит к задним рядам и орет:

— Ширрр-е-е-е шаг, третья ррро-ота, подтянись!

«Хорошо тебе так говорить, — думаю я, — когда у тебя сапоги пригнаны по ноге».

Стемнело. Полк идет. Освещенные луной,

усеянные погостами поля Галиции. Запоздавшие крестьяне идут с поля белыми тенями меж черных крестов...

Мы поднимаемся в гору. Виднеются огоньки. Близко деревня. Люди маятником покачиваются от усталости. Терехин поминутно ругается:

— Ой, тяжелое времячко! Не люблю я так. То ли дело, как перли на штурм Седлецкой группы под Перемышлем, а теперь — что? Окопы да окопы.

Пришли в деревню Заставки. Слышен голос:

— Квартирьеры первого батальона, квартирьеры, сукиного сына — сюда! Роты размещайте!

Открываются ворота, нас восемь человек входит во двор. Разбуженная внезапным появлением ночных гостей, рвется на цепи, захлебываясь, лает собака. Я ухожу в сарай. Снимаю сапоги, зажигаю спичку. На моей ступне сплошной пузырь. Посмотрю, что будет завтра, сейчас я просто ничего не соображаю и не евши, как подпиленное дерево, валюсь на сено.

Проснулась. В щели сарая пробиваются яркие лучи солнца. Мое тело отяжелело, словно все налилось ртутью. Трудно поднять руки. На ногах все тот же пузырь. Избавиться от него, избавиться во что бы то ни стало! Немедленно решила его разрезать. Почистила имевшийся у меня перочинный ножичек и ковырнула пузырь кончиком.

Эффект получился полный — пузырь лопнул, и оттуда вылилась мутная жидкость. Оттерла грязь слюной, обернула ноги в чистые портянки. Пробую надеть сапог, ходить больно, но все же лучше, чем накануне.

— Вставай, Серега! — Серегой звал меня Сашка. — Хватит спать-то, спал всю ночь, спишь целый день, а ты, так сказать, молодец, отмахали-то мы, знаешь, сколько? — сорок километров. Завечереет, пойдем на позицию.

— Бросай папиросу, прекратить куренье!

Роты медленно, не шумя идут лощиной. Над моим ухом пронзительно засвистело.

— Серега, нагибайся — пуля летает, нагибайсь!

— Почему нагибаться, Сашка?

Не отвечает. Не отдавая себе отчета, зачем я это делаю, иду согнувшись.

Падает луч света, вначале узкий, а потом все шире и шире. Сашка дергает меня, стремглав тянет, и мы падаем.

— Откуда свет? Гусев, зачем мы упали?

— Не до тебя теперь, отстань, ишь прожектором австрияк водит. Вот нащупает нас и всыпет, так сказать, гранатой. Лежи и молчи.

— Сашка, а граната большая?

— Молчи, говорю!

— Сашка, а война еще далеко?

— Уймись, тебе говорю!

Я пододвигаюсь на всякий случай ближе к Сашке. В это время недалеко раздался сильный удар, и мне показалось, что подо мной дрогнула земля. Прожектор снова освещает лощину. От сашкиных слов тревожных, от какого-то таинственного шороха, от неведомо куда идущих людей мне становится страшно. Может повернуть обратно? Убежать отсюда? Нет, не хочу, здесь хоть и страшно, а все-таки сколько тут будет у меня интересного. Не будь трусом и иди, ты же не одна!

— Гусев, мне страшно!

— Обожди, еще не так будет, против нас наверное немец. Немец, так сказать, не дурак, успел пристрелять лощину.

Что-то сильно гудит, завывает и, прошипев над головой, разрывается. «Вот это она и есть, граната», — думаю я.

— Ой-ой . . . братцы!

— Ранило кого-то, в первый взвод угодило. Лежи, Сережка, тихонько, пожалуй, и по нас шарахнет. Прицел-то взял правильный, — говорит Гусев.

Роты залегли ненадолго, потом приподнялись, быстро побежали и вновь залегли.

— Перебежку делаем, — объясняет мне Сашка.

— Вот и ход сообчения, — слышу я голос Трофима Терехина.

Мы куда-то входим, идем «гуськом», какой-то

земляной коридор. Я щупаю рукой по сторонам — посыпалась земля. Трогаю пониже, веду рукой по земле, неприятно скользит под ладонью. Уберу руку, снова тянет потрогать. Упираюсь ладонью, опять заскользило и щекочет. Черви! Страшно, противно, не хочу сюда итти, не пойду дальше.

— Ну чего ты, как бычок, уперся и не идешь дале? Стрельба-то утихла, чего напугался?

Кто-то толкнул меня в спину. Пошла. Сворачиваем направо. Здесь шире, просторней. В ночной темноте еле различимые силуэты склонившихся над чем-то солдат.

— Трофим, что там за дырка, что там солдаты делают?

— Это тебе не дырка, а бойница, в нее вставлена винтовка, так мы стреляем из окопов.

В убежище, кроме меня, Сашки и Терехина, сидели еще два разведчика — Черешенко и Запорожец, два неизменных товарища. Полтавской губернии, из одной деревни, Черешенко и Запорожец были удивительно похожи друг на друга. Их спускающиеся вниз усы были по форме совершенно одинаковы, только у Запорожца густые, а у Черешенко жиденькие. Но ростом Черешенко выделялся не только перед своим другом, а и перед всем полком. Подобного ему великана не было. Сидя в землянке, ему приходилось сгибаться в «три погибели». В разговоре с кем-нибудь из

солдат Запорожец и Черешенко всегда улыбались, выставляя редкие зубы, и, словно сговорившись, покручивали свои тюленьи усы.

Терехин снял свою шинель:

— На, Сережка, спи, напугался там в лощине-то. Не иначе, как немец против нас. Тихо больно на фронте. Он всегда такой. У него, как в гробу, тихо. Не боится он нас, такает себе понемножечку. Не пугливый! Австрияк, тот не такой, он то-и-дело из пулемета пускает да из винтовок разов пять-шесть за ночь-то откроет частый огонь. Беспокойный он — страсть. А все лучше, чем немец, с немцем уж всегда будь начеку. Ребята, идем в полевой караул.

Все четверо поднялись и вышли из землянки. Я осталась одна, не сплю, думаю, как же мне, наконец, сказать, что я женщина? Неудобно мне быть в этой трудной роли мальчишки, — в разговоре трудно. Да и зачем скрывать, не все ли равно?

В землянке тихо. Мерцает огарочек. Мне не уснуть, я слишком возбуждена всем происшедшим в этот вечер. А что, если сейчас придет немец? Немцы кажутся мне очень страшными и жестокими, я боюсь. Пойду искать Гусева, я не могу тут сидеть одна. Придавливаю фитиль свечи и ухожу. Жутко итти этим земляным коридором. Мне почему-то кажется, что я пройду несколько шагов и провалюсь в волчью яму, о которых я так много

читала дома. Шаркаю ногами, медленно передвигаю их, пробираюсь, ощупывая ступней землю. Людей не видно, только слышны голоса. И голоса такие приглушенные. А вдруг я попаду к австрийцам или немцам, чорт его знает куда ведет этот ход!

— Эй, кто там? — кричу я.

Собственный голос показался мне довольно внушительным, стало не так страшно. Набравшись храбрости — иду.

— Ты чего горланишь? Это тебе что, у себя дома, что ли?

Незнакомец привел меня к нашей землянке. Мы пришли. Я зажгла свет. Солдат полез в карман, вытянул оттуда замусоленный клочок бумаги, узенький конвертик, усеянный черными точками. Протянул мне огрызок химического карандаша:

— Пиши, паренек, цыдульку домой, агромадными буквами, чтобы ясно было. Ну, пиши, только смотри, чтоб было все так, как я говорю, ничего не пропускай.

Любезные папаша и с мамашею!

Свидетельствую вам свое низкое почтение и шлю низкий поклон. Сестрице Прасковье почтение и низкий поклон. Братцу моему, малолетнему Митьке — низкий поклон. Дорожайшему куму нашему Егору Никитичу засвидетельствуйте мое почтение да скажите ему, что я им разжился в нашем околодке мазь от ревматизмов. Как только ротный пустят в отпуск — завезу им сию мазь. Дорогие мамаша, прошу вас, засвидетельствуйте еще мое почтение

Аграпине Васильевне, что в церкви всегда стоят на клиросе и поют так жалобно. Вы их, мамаша, враз узнаете — они повсегда ходют в розовой кофте и зеленых, как травка в нашем саду, юбках. Известно вам, мамаша, что они в моих симпатиях ходют? Любезные папаша, пропишите ко мне, что у вас слышно в волости про войну, проведайте, когда ей скончание. Надоело на фронте пребывать, все нутро выворачивает. Вши до нас, солдатов, беспощадные, и ходют они по всех членах нашего тела, как у себя дома. Пожелаю вам оставаться в полном здравии и процветании. Как птичка весны, жду от вас послания. Пропишите еще, продали или нет телку нашу «Катьку»? С почтением шлю вам низкий поклон, а также и всем другим, состоящим в одной с нашей семьей крови. Мамаша, я снова повернул к вам с просьбой, не забывайте о моих просьбах — кланяться Аграпине Васильевне. К ним я буду писать вскоростях. Остаюсь в полном здравии, верный вам во всех своих чувствиях, преданный вам сын, несчастный в окопах Алексей из фронта.

Покончив с письмом, я вложила его в конверт и протянула солдату.

— Слушай, паренек, а ты все в точности прописал, как я говорил? Я тебе, как австрийские окопы заберем, хфуфайку подарю.

Я сказала солдату, что написала все, как он просил.

— Ну, на этом тебе спасибо. Пойду в караул. Время.

Запрятал письмо за пазуху — ушел.

Днем прохожу по окопам, иду в четвертый взвод. Я взбираюсь по небольшим ступенькам, вытягиваюсь поверх траверса. Совсем недалеко стоят четыре хаты, крыш нет и словно черепа глазные впадины — окна. Вдали, куда ни посмотришь, тянется всюду взрыхленная земля. Видны торчащие колья проволочных заграждений. Покоробленная земля почти всюду идет одной линией, только там направо сворачивает зигзагами, ближе к участку полка. Ни одного живого существа. Никто не покажется поверх окопов. Только недалеко от меня на бугорке спокойно сидит галка. Возле восьмой роты завыл, зашипел и грохнулся снаряд. Поднял пыль, не разорвался. Пойду в батальон, буду учиться стрелять.

Расположены солдаты очень редко, шагов пятнадцать-двадцать друг от друга. Попрошу вот этого, с рыжей бородой, я его знаю, его зовут Василий Климыч. У него почему-то козырек фуражки надвинут почти на нос. Зубами он держит шнурок кисета. Скручивает очень длинную цыгарку. Прячет, бережно свертывая, красный кисет в карман валяющейся шинели. Отодвигает кокарду-крестик, закуривает.

С противоположной стороны идет офицер. Я его уже видела однажды в обозе. У поручика коричневая гимнастерка и на груди орден Владимира, который он теребит правой рукой, а левую держит в кармане. Он идет насвистывая. Его бу-

тылочки-сапоги начищены до блеска. На нем синие брюки, а не такие, как у остальных офицеров — защитного цвета. Офицер подошел к бородатому, берет винтовку. Присматривается. Раскраснелся. Сжал кулаки;

— Сволочь бородатая! Прицел взял неправильный, впустую ведь бьешь, патронов не жалеешь!

— Ваше благородь, за что бьешь? В сынки ведь мне годишься.

— Молчать, лохматая бестия!

Поручик размахнулся, опять ударил. Бородатый шатаясь сел на ступеньки.

— Встать, стерва рыжая! Не умеешь с офицером разговаривать!

Поручик резко повернулся в мою сторону. Я взглянула на него, и меня невероятно поразили его глаза. Они были словно стеклянные, я никогда еще не видела таких бесцветных глаз. Его большой нос с горбинкой и очень тонкие губы и эти глаза, эти удивительно неприятные глаза напоминали мне какую-то хищную птицу. Офицер посмотрел на меня:

— Чего лезешь без толку, щенок?

Я отошла, скрылась в ход сообщения. Поручик ушел, я вернулась к Василию Климычу. Он вытирал кисетом льющуюся из ноздрей кровь.

— Видал, паренек, побил-то как? Щеголь такой, поручик Замбор, всегда в обозе сидит, а при-

дет на позицию, сейчас скровянит. Козью ножку испортил... Закурить теперча нетути.

По всей линии тишина, изредка одиночные ружейные выстрелы. Недалеко от землянки командира отделения, старшего унтер-офицера, на земляном выступе разместилось несколько человек. Нагнувшись, очевидно во что-то внимательно всматриваясь, солдаты временами выпрямляли спины и неистово хохотали. Заметив мое приближение, они замахали руками:

— Поспешай и ты, играть с нами будешь!

Камешками придерживаемая по углам бумажка, и в середине лежит серебряный пятачок. Солдат развязал узелок носового платка, вытащил оттуда очень неприятную, с широким пузом вошь, пустил ее на бумажку. Одновременно то же самое проделал его сосед.

— А ну, чья, а ну, чья — шибко идеть, моя взяла! Гони пятачок!

Выигравший прятал пятачок в карман, на кон ставилась другая монета. Игра продолжалась.

Сашка был возле землянки, перед ним стоял котелок, наполненный мутной водой. Он набирал полный рот воды так, что щеки у него отдувались пузырями, потом выпускал воду в ладонную пригоршню и умывался. Умывшись, взял обмотанное вокруг себя, расшитое красными петушками поло-

тенце, тщательно вытерся. Из кармана гимнастерки достал осколок зеркала, причесываясь напевал: «Вы не вейтеся, русые кудри . . .»

— Ты где пропадал?

— У Василия Климыча стрелять учился.

— Ну и как, научился?

— Научился.

— А не врешь?

— Не веришь, спроси его.

— Сережка, а и правду сказать, из орудия мало стреляют, хотя пожалуй и метко. Сегодня как ахнуло в первую роту, видал?

— Видал а . . . Ой, видал, видал . . . Хотел туда побежать, говорят, там были раненые и убитые, да побоялся без тебя итти.

— Побоялся, побоялся, да тебя, Сережка, легонько зацепить, так ты, так сказать, и помрешь со страху. А «языка» видал? Сам пришел. Батальонный его допрашивает: «Якого регменту», а он молчит и ни слова, напугался до смерти. Повели его в штаб дивизии.

Сашка еще раз посмотрелся в зеркало, покрутил в пальцах свой чуб, завернул зеркальце в носовой платок и спрятал его в карман.

— Ребята, вылазь, командир дивизии с начальником штаба по окопам ходят.

Объявив новость, Запорожец, запыхавшийся, побежал дальше.

— Да чего это его нелегкая занесла сюда, не

иначе, как снег выпадет. Пойдем, Сережка, посмотрим.

Мне вдруг захотелось сказать Сашке, что я не мальчик, и все-таки опять я сдержалась и промолчала. Нет, пусть сам узнает, неужели они все ничего не замечают?

— Гляди, Сережка, этот высокий, бравый — командир дивизии генерал Мичволодов. При нем его начальник штаба, а тот, безрукий, знаешь его, наш батальонный. Боевой он — страсть! Ну и этого знаешь — ротный. А командир-то полка поотстал малость.

Стройный, высокий, в черкеске, с небрежно накинутым на плечи белым башлыком, в вычищенных сапогах, с седыми усами, глазами, поминутно щурящимися, мягко звеня шпорами — выступал генерал Мичволодов. Его начальник штаба, полный, грузный, покачивающийся на ходу, словно утка, то-и-дело вносил заметки в записную книжечку.

Батальонный шел за начальником штаба, быстро вращал своими черными глазами, поджав губы, одинокой правой рукой показывал на бойницы начальнику дивизии. Сзади мелкими шажками, нервно покручивая тоненькие усы, догонял начальство полковник Свирский, командир полка. Молодой, всегда улыбающийся прапорщик Ерош, командир роты, замыкал шествие.

— Полковник, а это что за элемент?

— Ваше превосходительство, это наш Сереженька, взяли мы его в полк добровольцем. Разрешите оставить?

Я замерла от ожидания и как-то вся вытянулась. Генерал смерял меня глазами с головы до ног. Еще и еще раз. Он смотрит на мою грудь. Щурит свои глаза.

— Можно оставить. Занятное существо. Надо будет поближе с ним познакомиться. Пришлите его, полковник, к нам в штаб погостить.

Терехин заболел, его лихорадит, а глаза у него как горящие угольки.

— Ну, Сережка, идем, что ли, в деревню, в обоз. Я в околодке поваляюсь пару деньков и тебя заодно провожу до деревни, а там найдем для тебя провожатых и в штаб дивизии. Командир-то полка еще поутру передавал, чтоб тебя отправили в штаб. Да смотри, Сережка, не забудь, как я тебя учил стоять перед генералом.

В землянку вошел Василий Климыч.

— Ну, здоров, Сергей! Ты, Трофим, не в себе чавось, нешто напасть какая объявилась? Куда ж вы собрались? Сережка-то умылся, кожа как наливное яблочко, а вот волосы пообросли малость, давай-ка, Сашка, машинку, подъегорю я его по умелости своей.

Процедура с волосами длилась недолго. Я готова, и Терехин встал.

— Куда собрались-то? — недоумевает Климыч.

Сашка объясняет ему.

— Ну, ладно, Сережка, смотри не загостись в штабе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Ваше превосходительство—разрешите? Гостя привел.

Дверь распахнулась. Генерал отодвинул табуретку, на которой лежали его ноги, и приподнялся с кровати.

— Милости прошу. Поручик, вы свободны.

— Нн-ус, если не ошибаюсь — Сережа, кажется так?

Я смотрю на генерала, генерал на меня. Чем дольше он на меня смотрит, тем больше я прилагаю стараний вытянуться перед ним «в струнку», как меня учил Трофим. На этот раз генерал не мерял меня глазами с головы до ног, он упорно и пристально смотрит на мою грудь. Попрежнему стою в той же позе. То опускаю ресницы, то снова их подымаю. Кровь приливает мне в голову, я почувствовала, как краска залила мне лицо. Посмотрела на генерала. Прошло немного времени, наверное минута, но минута эта показалась мне бесконечной. Генерал смотрел. Для меня стало ясным одно: то, что так ловко удалось скрыть от солдат — не удалось скрыть от генерала.

Он подходит ко мне. Близко наклоняется к моему уху и тихо говорит:

— Ты д е в о ч к а! Имя?

Я так же тихо ему отвечаю:

— Зинаида. Ваше превосходительство, обращаюсь к вам с просьбой: оставьте меня в полку.

Генерал взял меня за подбородок:

— Цыпленочек, тебя ж убить могут. Ну, да ладно, если уж так настаиваешь, отдам распоряжение в полк. Зачислят приказом. На длительной стоянке — жду тебя. Придешь? Придешь, спрашиваю? Говори...

Съежилась вся, втянулась в плечи, приложила руку к козырьку:

— Слушаюсь, ваше превосходительство, разрешите ехать в полк.

Мичволодов еще раз спросил, приеду ли я, опять наклонился над моим лицом, дохнул на меня — от него приятно пахло тонкими духами и сигарой. Он сжал в пальцах мой подбородок, прижал меня к себе и отпустил.

Я быстро шла, не оглядывалась, шла, чувствуя отчаянное одиночество. Мне казалось, что вот-вот обрушится на меня что-то непосильно тяжелое. Села на двуколку. Лошадь тронулась. Я обхватила голову руками, раскачивалась всем туловищем, закрыла глаза, сердце сжалось, чуя неведомую беду.

Неприятель свирепо и оглушительно весь день гремит из орудия. Сегодня я впервые так близко увидела раненых. Шла к Василию Климычу и встретила людей с носилками, они шли ходом сообщения и направились к первой роте.

— Ой, братики, ой, родименькие, ой, несите скорее до пункту, скорей несите!

Санитары остановились, опустили носилки на землю и закурили. Я наклонилась к раненому.

— Сынок, а сынок, помоги мне, касатик!

Гимнастерка и рубаха солдата изрезаны на куски, все в крови. Кровь брызжет из небольшого отверстия под соском у правой груди. Солдат стонет. Схватил мою руку, крепко сжал.

— Миленький, приподыми меня, может полегчает.

Стараюсь, изо всей силы тяну раненого за плечо.

— О-ой! Ой, сердечный, пусти, не трожь, ой, пусти!

Бережно опускаю солдата. Опять несут раненого. Голова обвязана, марля промокла кровью. Стон вырывается заглушенно. Раненый приоткрыл глаза. Взмахнул рукой и опустил ее беспомощно. Снова такой жест, словно он силится сорвать повязку с головы. Санитар бросил мне бинт:

— На, наложи ему повязку свежую, присохла марля-то, бередит ему рану.

Мои руки дрожат, осторожно разматывая бинт. Повязка подходит к концу. Снимаю ватную по-

душечку — открылась зияющая рана, а на марле кусочки мозга. Помутнело все перед глазами, запрыгало, завертелось. Подступила тошнота, мной овладел ужас.

— Мить, а Мить, не может он перевязать, ишь оробел. Ах, ты, слюня, а ну, пусти.

Санитар оторвал кусок чистой марли, снял ею мозги с ватной подушечки и, вложив их обратно в рану, забинтовал голову солдата.

— Не выживет — зря несем.

Поднялись, пошли тяжело ступая.

Подходят еще с носилками. За ними наш ротный. Останавливаются, тихонько опускают носилки. Тщательно вытирают пот со лба. Я вижу знакомое мне лицо капитана Мельникова.

— Подымай, ребята, подымай, чего остановились, рана ведь не пустяковая, да гляди, ребятки, ни капли воды по дороге не давать.

Однорукого Мельникова ранило в живот.

— Ну, как дела, малыш? — обращается ко мне ротный. Смотри, вот как бы и тебя не зацепило. Не лазь зря по окопам. Продольный огонь, от него трудно убережеться. Иди-ка ты лучше в землянку.

— Пойду ребят проведаю, — говорит Гусев.

Я порываюсь и иду за ним.

— Ты чего? Сиди тут, сам не знаю, как доберусь, кроет, дьявол, с правого фланга, пули вдоль окопов сыпет. Не ходи.

Сашка не берет меня с собой.

Батальонный и раненные солдаты, которых я видела сегодня, все время у меня перед глазами. И мне противно стало свое любопытство: «Подумаешь, какая! Приехала сюда и ничего не делает, найди себе какое-нибудь занятие, чего так крутиться. И брось свои глупости выдавать себя за мальчишку, сегодня же скажи, сознайся, что ты девочка». Я кажусь себе трусом, и мне неприятно, что у меня не хватает храбрости признаться в правде.

— Эх ты, на, почитай!

Сашка вернулся сердитый, не смотрит на меня. Я взяла у него протянутую им бумагу и прочитала:

ПРИКАЗ №...

(по 74 Ставропольскому пехотному полку)

Пункт 1

Командира 1-го батальона капитана Мельникова полагать выбывшим из строя по ранению.

Пункт 2

Командира 1-ой роты капитана Крапивянского назначаю командиром 1-го батальона.

Пункт 3

Командование 1-ой ротой возлагаю на прибывшего из лазарета по выздоровлении поручика Кулеша.

Пункт 4

На вольноопределяющегося Шанского, числящегося при команде разведчиков, за несвоевременную от-

лучку из команды налагаю арест на десять суток, который отбыть при полковой гауптвахте.

Пункт 5

Находящуюся при третьей роте доброволицу Зинаиду Крамскую (она же Сергей) зачисляю на все виды довольствия и с седьмого с/м. считать прикомандированной к команде пеших разведчиков.

Так вот оно что! Генерал исполнил мою просьбу. Я гляжу на Сашку, он смотрит на меня исподлобья.

— Гусев, не сердись.

— Чего серчать, не виновата чать твоя мамка, что родила, так сказать, девчонку, а не сына.

— Гусев, а когда на разведку пойдем? Идем сейчас, еще светло.

— Да в разведку-то и не идут, когда светло, это вот когда полк в движении, тогда другое дело, а тут сунься-ка — сейчас прихлопнет.

Оба замолкаем, но ненадолго. Сашка не сводит с меня глаз:

— А и ловко ты нас обдурила! Как же это я-то ничего не приметил?

— Сашка, ты чего так смотришь?

— Да так. Ну, ладно, спи пока, позже разбужу — сегодня приказано проволочные заграждения подрезать, пойдешь с нами.

— Двигаем, ребята! Сашка, не бери Сережку. Сережа! кроме страху-то ведь ничего нет, не ходи!

Ах да, я и забыл: не Сережка, а Зинка, так, что ли, тебя кличут?

— Трофим, я пойду с вами, и можешь звать меня попрежнему, не зови меня Зинкой.

— Да как же так? Нет, теперь уж не идет так. В полку-то уж все знают, что ты Зинкой оказалась. Эх, Зинка, — берегися! Не упустит тебя офицерня! Ну, если хочешь, идем с нами.

Мы ползем к проволочным заграждениям противника. Сердце у меня замирает от страха, и все-таки меня тянет туда, к опасности. Снаряды рвутся, я боюсь, и в то же время каким-то захватывающе-лихим кажестя мне это кошачье крадущееся движение во тьме ночи. Недалеко разрывается граната — я двигаюсь дальше, хотя имею полную возможность повернуть обратно и укрыться в блиндаже, но я остаюсь здесь на открытом месте, и такой приятно-сладостной кажется мне моя бравада. Разрыв шрапнели — недолет. Ага! не попало — здорово! Ползти трудно, постоянно натыкаюсь на кочки, пересохшая глина впивается в тело.

— Зинка, бери влево, тут калюжа!

Терехин отползает от меня.

— Саш, а Саш, у меня живот заболел, я не могу так больше ползти.

Сашка тихо мне говорит:

— А ты не пузом, ты бочком.

— Тсс, тсс, подползаем, сейчас проволочные заграждения.

Я вспотела, расстегнула ворот гимнастерки. Недалеко дребезжа шлепается пуля.

— Сдалека стреляет. Такая как всадит, вырезать потребуется, бессильная она, на излете.

— Терехин, ты?

Подполз, закрыл мне рот ладонью. Слева опять грохнуло в нескольких местах. И там открылась стрельба из винтовок и пулеметов, слышно, как с треском и грохотом рвутся снаряды. Минута... две... три ползем. По всему участку позиции высоко вздымаются и медленно падают голубовато-зеленоватые огоньки. Климыч вчера говорил, что у неприятеля ракет до чорта, а нам отсырелые присылают. Пускают их, пускают, а никакого толку нет. Ой, что ж это такое? Я зацепилась рукавом гимнастерки. Проволочное заграждение! Как же это произошло, я наткнулась на колючки, тяну рукав, но он не поддается никаким усилиям. На левом фланге усилилась стрельба. У меня вдруг страшные колики в животе, затошнило, чувствую, у меня мокрый лоб, я вся вспотела и мне холодно. Дрожь пробегает по всему телу, и снова жарко. Мама, Валька, отец — где вы? Я умру сейчас. Я умру и никогда вас больше не увижу...

— Сашка, Трофим, я зацепилась, где вы?

Ни звука... Ой, что ж делать? Свободной

рукой я трогаю щеку — она мокрая, неужели я ранена? Неужели это кровь? Это пот, конечно, только пот. Не бойся, миленькая, не бойся, — утешаю себя. Разорвалась в стороне шрапнель, словно ушат кипятку вылили мне на голову. Снаряды теперь падают ближе. Показывается свет прожектора, на секунду задерживается и снова появляется то справа, то слева, и опять на средину.

— Терехин, где ты? — шепчу я.

Молчание. Коротко, отрывисто забил пулемет. Будь, что будет — и я сильно тяну зацепившийся рукав. Проволока дребезжит, рукав остается прикрепленным к этим проклятым железным шипам.

Вдруг мне пришел в голову самый простой выход из положения. Стягиваю одной рукой гимнастерку. Я освободилась, отползаю несколько шагов. Мне уже не так страшен свист пуль. От радости, что удалось освободиться, забываю о том, что надо ползти «бочком», как говорит Гусев, нахожу более удобный и быстрый способ передвижения, чуть приподымаюсь и ползу на четвереньках. Одна мысль: скорее бы в окопы, скорее бы добраться туда!

— Та що це таке? Та то никак Серега, чи як тебя — Зинка?

По разговору узнаю Черешенко.

— А где Сашка?

— Сашка-то Сашка, а вот на що ты на карачках идешь, не чуешь хиба, як торокочет пулемет? Вот

засадит тоби в с. . .у, будешь тоди на карачках ходить. Ты, Зин, как стрельба утихнет, подымайсь потрошки, а потом знов ложись, заторокочет — не подымайсь, лежи, почекай трохи, затихнет, опять беги. А то на карачках, хиба ж це перебежки так делают?

Ветер холодной струей задувал в открытую грудь. Разорванный проволокой рукав моей сорочки обвисал клочьями. В землянке, наклонившись над своим вещевым мешком, я вытащила оттуда серую курточку, надела ее на себя.

— Ты куда пропала, Зинка? Я отполз от тебя к Терехину, оглянулся, а тебя не видать. Ну, думаю, она наверное с Черешенко. Не пропадет. Зин, а Зин, а где твоя гимнастерка?

— Гимнастерка, гимнастерка, а вот зачем ты меня бросил?

— Да не бросил я тебя! Чуть отполз, думал, ты за мной. Говори, где гимнастерка?

— На проволоке у немцев висит.

— Очумела ты, что ли? Как на проволоке?

Я рассказала Сашке все, что произошло.

Он громко захохотал.

— Ну и Зина! Да ежели ты и дале так в разведку будешь ходить, без подштанников, так сказать, придешь, тоже на проволоке повесишь.

— Смеешься, не стыдно тебе?

— Да ну, ладно, я никому не скажу. Черешенко-то в темноте может и не приметил. А на-

ступать, Зинка, полк не будет, немец насторожился, на правом фланге разведчики обнаружили себя, теперь дело не выйдет.

Участок, занимаемый 12-ой дивизией, обстреливался ураганным артиллерийским огнем.

В расположении полка, особенно нашего батальона, стрельба была только из винтовок и пулеметов. Небольшое расстояние до неприятельских окопов спасало первый батальон от артиллерийского огня. Из-за боязни недолета снарядов немцы редко обстреливали этот участок артиллерией.

От страха, от боязни ли за жизнь, от стыда ли и досады за оставленную гимнастерку — я уткнулась в колени и плакала.

— Честь имею явиться!

В землянке, на складной кровати сидит командир полка. Здесь имеется столик, и на нем стоит небольшая лампочка. На стенке, сделанной из досок, висит фотография мальчика в кадетской форме, волосы у него подстрижены аккуратным «ежиком». На чемодане, поставленном дыбом, стоит большой закоптелый чайник. Седой маленький человек тянется к лежащей на столике газете. Лысый, со слезящимися глазами и прокопченными никотином усами, которые заканчиваются ниточкой — старик улыбается и обращается ко мне:

— Брось вытягиваться. Чего выдумываешь? Такие вот дела — тебя разыскивают родные. Хочу тебе сообщить о желании и просьбе твоих родителей — вернуть тебя домой. Поедешь?

— Нет. Возвращаться не буду. Мне здесь нравится, здесь все не так, как там у нас. Здесь все для меня ново и интересно.

— Ну, твое дело, как знаешь, только я тебе советую бросит всю эту канитель и ехать к родителям. Убьют тебя или покалечат, родителям горе будет неутешное. И если бы ты была моей дочкой, я тебе всыпал бы здорово. Чего же тебе здесь нравится? Ты со мной говори откровенно, я ведь тебе как отец родной, моя Марина тоже твоего возраста, только та не такая, как ты, она у нас все в монастырь собирается. Ты понимаешь, что здесь крайне опасно?

— Я понимаю, ваше высокоблагородие.

— Можешь меня звать Станислав Казимирович.

— Ну вот, Станислав Казимирович, поймите, что здесь очень интересно. И тут у меня будет и работа. Я буду перевязывать раненых.

— Ты скажи яснее, почему здесь интересно. А насчет работы, если хочешь знать — это фантазия, потому что работа есть и в тылу, иди сестрой в лазарет.

— Станислав Казимирович, там не то.

— Говори яснее и громче, я плохо слышу.

— Вы поймите меня. Я здесь одна доброволица на целую дивизию. А здесь особенно интересно потому, что тут ведь исключительные условия.

— Ага! Так ты, хочешь флиртовать? Ты еще мала для этого.

— Нет, не то, просто мне нравится быть одной женщиной тут, одной на целые десятки верст.

— Смотри, чтоб эта забава не обошлась тебе слишком дорого.

— Станислав Казимирович, разрешите итти?

— Ступай, как хочешь. Эх, ты маленькая авантюристка!

Свирский похлопал меня по плечу, я попрощалась с ним и ушла.

Прибывший к нам новый разведчик и Трофим резались в двадцать одно.

— Зина, завтра будем новую землянку рыть. Тут тесно. Лопата у тебя имеется, а вот с карабином дело плохо. Просил взводного, не дает. Нехватка винтовок. Обещал для тебя наган дать.

Занимаю свое место на лежанке и дремлю.

— Спит Зинка-то, скверно мне с ней жить. Как познал, что она девка, повсегда баба сон тревожит. Спокойствия не имею. Не могу я больше с ней находиться под одной крышей. Я уж имел думку, что, если к Зинке подкатиться. Да молода еще, выть начнет. Беды с ней наделаешь.

— Брось, Сашка, дурака-то валять. Без всякого ты терпения человек.

— Да, может и так, Трофим, да Зинка-то больно хороша.

Я лежу под шинелью, в голове у меня туманно. Засыпаю.

Проснулась рано. Под ложечкой у меня какой-то комок, и отвратительно себя чувствую, и все это оттого, что встречаются всевозможные препятствия к моим естественным отправлениям. Если расположиться в ровике, под открытым небом, с отсутствием какой-либо двери, опасность для меня является отовсюду. Невозможно чувствовать себя спокойно. Я начинаю вращать головой вверх и в стороны так, что болит шея. Настораживаешься, не идет ли кто из мужчин, и, если кто-нибудь идет или близко разрываются снаряды, приходится моментально вскакивать.

Я написала домой письмо:

Дорогие мои папа и мама! Прошу вас, не беспокойтесь обо мне и не пытайтесь возвращать домой. Я отсюда не уеду. Мне пришлось перенести немало мытарств, пока я добралась на передовые позиции. Уехав из Казани с отправляющимся на фронт эшелоном, я благополучно добралась до станции Броды, там была задержана и отправлена этапным поездом. Мне удалось бежать, и через несколько времени я с трудом попала в полк. Первое время я скрывала, что я девочка, а потом надоело играть роль глупого мальчишки, и я сказала правду. Дорогая мама,

пришли мне белье, пошей мужское, это для меня удобнее, только кальсоны не надо шить длинные, как у мужчин, а коротенькие, и непременно пришли чулки. Форму мне выдали, и я перешила ее на свой рост. Валька! пришли мне папирос, и как можно больше, у меня есть знакомый солдат-ополченец, он получил посылку из дома и угощал меня пряниками, он очень хороший человек, на-днях я видела, как его избил один из офицеров, а потом этот же поручик, увидев меня, назвал «щенком», а теперь когда открылось мое инкогнито, этот поручик прислал мне шоколад. Хорошие, дорогие мои, не волнуйтесь, здесь ведь много народа, я не одна. Письмо мне обещал бросить в ящик в Киеве один разведчик, у него сильно болят глаза, и он едет в тыл. Целую вас крепко.

Зина

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наскоро мы снялись с позиции. Пройдя километра два лесом, мы вышли к фольварку Михалки. Оттуда через два часа снова выступили, переход был километров в пятнадцать. Полк остановился. Расположились бивуаком. Солдаты составили винтовки, разбили палатки.

Напившись чаю, мы сидели у костра и пекли в золе картошку. Терехину опять всю щеку раздуло. Он взял у Василия Климыча кисет, насыпал в него еще неостывшей золы и прикладывал его к больной щеке. Подошедший земляк Трофима присоединился к нам.

— Пришел вас проведать. Новости у меня есть. Сегодня слыхал — командира полка от нас уби-

рают. Сам слыхал, как он говорил полковнику Кривдину: «Обижает, — говорит, — меня начальство, поблажки, говорят, всякие делаю, корят меня, почему солдаты расхлябались». А жалко, ежели заберут Свирского-то. Не дай-те, господи, как пришлют такого, как в Кубанском полку полковник Плахов. Без зубов останешься. А может Бальме поставят. Сегодня видел его денщика — вот забавное про него рассказывает. Говорит: «Бальме-то мой, как покладутся спать, завсегда кричат: „Осип, где полковничьи погоны подевал?“ Дам, говорит, ему новенькие золотые погончики, а он их под подушку покладет и завалится спать. Утром просыпаются, кричат мне: „Осип, я полковник?“ — „Так точно, — говорю ему, — подполковник“. А они тогда как закричат: „Не подполковник я, сукин сын, а полковник!“ Увидят, значится, себя во сне в следующих чинах, а на другой вечер опять: „Осип, где погоны?“ — и так кажинный вечер». Надоел, говорит, до смерти, пущай, говорит, уж и взаправду бы нацепили ему эти погоны высших чинов.

Земляк Трофима закончил свой рассказ.

— Так вот, ребята, все мои новости. Ну, а чем потчивать-то будешь, Трофим?

— А вот у Зинки гостинцы есть. Папиросы из дома получила, лампасье и какаво есть. У нас тоже не без новостев. Черешенку-то Кривдин к себе в денщики взял. Вон они стоят вместе.

Щуплый, черный, как жужалка, командир четвертого батальона Кривдин, ростом «с ноготок», стоя рядом с своим новым денщиком, росту которого мог бы позавидовать любой богатырь, — сильно горячился. Суетливо семенил ножками вокруг Черешенко, останавливался, подпрыгивал возле него и что-то неразборчиво кричал. Очевидно, этот новый денщик пришелся ему чем-то не по вкусу. Невдалеке от них группировались солдаты.

— А ну, тише, ребята, что у них там случилось?

Подскочив к Черешенко, Кривдин сделал прыжок на месте. До нашего слуха донесся визгливый голос полковника:

— Наклонись, сукин сын, наклонись, хохол несчастный, галушка паршивая, наклонись!

И, размахивая руками, Кривдин снова подпрыгивал. Черешенко, как бы подзадоривая полковника, задирал голову еще выше. Проделав несколько прыжков, Кривдин плюхнулся на сено, вынул платок и, то вытирая им свой лоб, то обмахиваясь им, словно веером, в изнеможении склонил голову на плечо.

— Он хочет побить его, ей-бо хочет побить, да неподстать ему Черешенко-то, — и Трофим, несмотря на зубную боль, расхохотался.

Немало посмеявшись, мы были уверены, что Черешенко завтра же будет отправлен в строй.

Неделю пробыла в обозе. Мылась, чистилась, отдыхала. Вернулась оттуда в полк, который стоял в резервной линии, и сообщила обозные новости. Полки поведут наступление на Залещики и ст. Окна.

Перед рассветом наш батальон оттянули в лес. Там в большом овраге разместились текинцы. Бронзовые сумрачные лица. На голове черная папаха-овца. Ежеминутно поглядывают на стоящих в стороне поджарых, с маленькой головкой, реденькой гривой и длинным хвостом бело-серых лошадей. Текинцы разложили, зажгли костры. В агонии на искривленном текинском клинке трепыхалась белоснежная утка. Запахло едкой гарью. Подошедшему к кавалеристам офицеру-пехотинцу на отданное им приказание загасить костры резко ответили:

— Зачем не честно сражаешься, зачем в землю прячешься?

Не прошло и полчаса, как предостерегающе ухнул, разорвался снаряд. Кавалеристы гасили огонь. Но легче пламя потушить, чем рассеять дым. Рвущаяся над лесом «журавлем» шрапнель сменилась меткой гранатой. В суматохе бросились текинцы к своим лошадям. Рвалась, вздымая тихую землю, граната. Осколком снаряда ранило лошадь. Подбежали кавалеристы, склонились в черных бурках над раненным конем.

На обагренной кровью свежей траве, вытянув

красивые стройные ноги, лежала лошадь. С трудом поднимая свою голову, взором потухающих глаз смотрела на зияющую рану распоротого брюха. Хрипя стонала, бессильная в муках. Один из кавалеристов поспешно сбросил с плеч лохматую бурку, осторожно с товарищами положил на нее лошадь. Под сильным орудийным огнем поволокли текинцы тяжелую ношу — боевого товарища.

К вечеру утихла артиллерийская стрельба, но не замолкли стоны.

Розовел лес от заходящего солнца.

Наклонившись над трупом лошади, широко открыв глаза, в немом отчаянии безысходного горя — молча оплакивал текинец свою потерю, свое сокровище...

С утра носились вестовые по окопам и ходам сообщения. Полевой телефон гудел, словно шмель, по несколько раз вызывая офицеров к командиру полка. Озабоченные лица начальников, их торопливые шаги заставляли настораживаться солдат. Мысли о бое так же подавляли сознание, как и горбатая гора-подкова, увенчанная короной немецких окопов, подавляла ту равнину-ладонь, по которой вились наши траншеи.

Но из штаба дивизии требовали восстановить положение. Младшие офицеры, говоря солдатам о наступлении, добавляли: «позицию противника

надо взять, командир полка приказал». Солдатам же некому было приказывать, и они молча готовились к предстоящему штурму.

Ночью пришли кухни. Гуськом потянулись денщики, брянча судками. Солдаты ели вяло. Поев, собирались в кучки, дремали, сидя на земле, упершись на стволы винтовок.

Чуть свет забили батареи. Облаком разрывов оделось все пространство австро-германских окопов.

Противник молчал, и это молчание было зловещим.

Откуда-то справа электрическим током ударило по напряженным нервам:

— Вперед!

Унтера и младшие офицеры в серых солдатских шинелях, поспешно выпрыгнув за бруствер, отбежали с десяток шагов и сразу залегли. Солдаты, несмело высунув головы, выскочили и залегли на траве беспорядочной цепью. Австрийцы не открывали стрельбы. Цепь поднялась и пошла. За ней, высунувшись из окопов, двинулась еще одна линия серых шинелей. Противник стал стрелять с фронта редким огнем, но первая цепь не ложилась. Останавливались лишь редкие пулеметы, чтобы своим огнем прочистить путь наступающей пехоте. До передовых неприятельских окопов оставалось не больше шестисот-семисот шагов.

Офицеры остановились, давая команды. Солдаты стали перебегать пачками из-под бугорка на бугорок, накопляясь в складке, идущей под самым носом противника.

В это время ожила занятая австро-германская страшная подкова.

Спокойный огонь немецких винтовок и пулеметов пришил нас к земле. Снаряды из гаубиц били по нашим окопам, куда стянулись резервы. Вторая линия, бодро шедшая под прикрытием передовой цепи, изогнулась и зарылась в землю.

Частый ружейный огонь. Заработали пулеметы. Но неприятель не рассчитал. Его артиллерия уже не могла бить по наступающим из-за боязни попасть в своих.

Эхом разнеслось «ура». Широкие ворота проволочных заграждений, подрезанных ночью, сделали свое дело. Словно муравьи заметались австрийцы. В панике бросились из убежищ.

— Коли его, коли!—разносилось среди солдат.

Люди бросились вдоль окопов, внимание их приковали брошенные неприятельские ранцы.

— Гляди, ребята, тут кроны, ей-богу кроны!

— Не задерживаться, вперед! — раздался офицерский окрик.

В суматохе бежали солдаты на верх окопов.

Растянувшись вдоль хода сообщения, расставив вытянутые ноги, лежал раненный австриец. Из его толстого живота лилась кровь. Не стонал —

мычал. Не перескакивая через австрийца, тяжелой поступью надавливали солдаты на его живот. Австриец чуть приподнялся...

Каким-то нечеловеческим голосом вырвалась мольба:

— Erschiesset mich[1]!

Австрийцы, отступая от своих линий, не добежав до резервных окопов, спешно окапывались. Паника у них улеглась. И спустя несколько минут они перешли в контр-атаку. Наши батареи открыли беглый огонь по резерву противника. Снаряды попадали и в наши ряды. Падали люди, залилась кровью земля.

Какой-то безумец, австрийский офицер, стрелой несся к командиру второй роты. Заметив неприятельского офицера, прапорщик прицелился. Поздно! Упал, подкошенный. Секунда... и австрийского офицера тоже не стало. Солдаты отомстили за своего любимца, всегда веселого смеющегося прапорщика.

Наша артиллерия не умолкала. Метко ложились снаряды в неприятельские ряды, но австрийцы наступали, а сзади них шла цепь германцев. Роты залегли. Солдаты боялись пошевельнуться, глазами двигать: каждому казалось, что противник из всей массы видит только его. Но вдруг заворочались головы, ухо, приложенное

[1] Застрелите меня!

к земле, не ошиблось. Команда «цепь влево» подтвердила обозные новости.

С гиком, свистом, сверкая обнаженными клинками, карьером неслась конная орава, сметая все на своем пути.

Дрогнула цепь австрийцев, рассыпались кто куда. Четко забил пулемет и затих. Бросив оружие, австрийцы с поднятыми вверх руками, крича: «Пан, я ваш!» — устремлялись в наш тыл. Немецкая цепь как бы застыла на месте, не двигалась.

Вихрем промчалась мимо нас кавалерия. Вырвавшиеся вперед всадники, в черных своих папахах, в черных бурках, пригнувшись к гривам белых лошадей — являли собой траур, неся роковой финал.

Станция Окна была взята, а вместе с ней и прибывшие эшелоны с австрийским пополнением. В свежих мундирчиках блестящим фендрикам, к их глубокому огорчению, не пришлось больше подать ни одной команды своим подчиненным.

После боя офицеры батальона, открывая австрийские фляжки, наслаждались ромом, а солдаты, сбросив с себя вшивое белье, наряжались в тонкие фуфайки. Я хожу и рассматриваю неприятельские окопы. Как здесь все хорошо устроено, а немцы, немцы какие страшные в этих темных касках! Теперь, когда я видела их так близко, они кажутся мне какими-то неумолимыми

и жестокими, и в то же время я проникаюсь к ним очень большим уважением.

У бойницы вижу Трофима. Приклад его винтовки изукрашен кровяными узорами. Трофим сидит на корточках и наматывает остаток марлевого бинта. На коленях у него, поджав под себя красные лапки, сидит голубь. Перебитое, раненное крыло его аккуратно забинтовано Трофимом. Спрятав бинт, Трофим гладит головку птицы указательным пальцем. Голубь дремлет.

Примостившись на огромной куче пустых консервных банок, пересматривая находящееся в австрийском ранце имущество, сдвинув фуражку набекрень, покручивая белокурый свой чуб, Сашка не мог оторвать взора от фотографического снимка, с которого улыбаясь смотрела на него задорная австриячка.

Перед рассветом мы оставили окопы и после двух переходов остановились в деревне Джаны.

Я шла к себе на квартиру и встретила вольноопределяющегося Давида Марковича. Его черная курчавая голова, большой, чуть выпуклый лоб, красивые серые, широко расставленные глаза, прямой нос и пухлые губы с милой улыбкой делали его лицо удивительно симпатичным. Он остановил меня, я заговорила с ним:

— Скажите, Давид Маркович, это вы и есть Шанский, мы с вами в один приказ попали, помните?

— Да, это я и есть. Ну, что, Зина, долго думаете еще быть в полку?

— Долго. Совсем здесь останусь. Интересно.

— Интересного, пожалуй, мало. Вам интересно, конечно, вы у нас одна, вас все балуют, всех наших горестей вы и не замечаете, а может быть и стараетесь не замечать, вы слишком заняты собой, вот подождите, вы еще отличитесь в каком-нибудь бою, и вас представят к награде, о вас напишут в газетах, поместят ваш снимок, тогда вам, пожалуй, еще больше понравится. Пустое это все, Зина, и по молодости лет вы вообще многого не понимаете. Давайте познакомимся с вами поближе, приходите ко мне в гости, я стою на квартире вон в той хатке. Придете?

— А мы никуда не выступаем? Нет? Ну, тогда, конечно, приду.

Расставшись с вольноопределяющимся, я иду к своей хозяйке. По распоряжению ротного на полковых стоянках я помещаюсь одна. Лишь изредка со мной поселяются Гусев и Трофим.

Что за новость? Откуда новые маленькие сапоги? А вот и записка:

Зина!

Я раздобыл для вас сапоги и в команде приказал пригнать по вашему росту шинель. Беру на себя смелость опекать вас. Я стою на квартире у дьякона, приходите, у нас есть земляничное варенье.

Замбор

Откуда же мне достал сапоги поручик? Но откуда бы они ни были, их надо померить. Хорошие сапоги. Не снимая их, ложусь поперек кровати, упираюсь ими в стенку. Надо пройтись в них. Встаю и прохаживаюсь по комнате. Не жмут, теперь в походе пойду в строй. В обозе мне ехать не нравится. Тарахтят походные кухни, как разбитые тарантасы, на остановках ко мне подходят из батальона солдаты и посмеиваются: «Ты чего, Зинка, записалась в «слабосильную команду»? Как узнали, что ты девка, сразу небось на подводу посадили, едешь, как барыня!» Я объясняю солдатам, что я не устала, а еду с обозом потому, что у меня порвались сапоги.

Иногда в обозе бывает работа и для меня. Останавливаемся, я подхожу к подводам, следующим за нами. Там лежат раненые. Я бегаю для них узнавать, сколько еще осталось километров до железнодорожной станции или тылового лазарета, они с нетерпением ждут, когда их отправят в глубокий тыл. «Доколи мучаться-то? Когда в лазарет представят? Тошно-то как, последние силы выматывает. И поранятому спокоя нет. За что мучаемся-то? Тятька из дому писал, третий месяц в уезд за пособием ходит, мыкается все, а пособия не дают, трех братьев нас на войну угнали, а тятька старый, работать ему не под силу. Домой бы доставиться, рану керосином разбережу, а на фронт не пойду, вот тебе крест не пойду!»

В комнату ко мне вошла старуха, моя хозяйка.

— Бабуся, свари мне десяток яиц.

— Та на що тебе так много? Ты ж малый. А мне хиба що, давай яйца, зварю.

— А ты свои дай, у меня нет.

— А злоты у тебя е?

— Что за злоты?

— О то ще, хиба не знаешь — гроши, гроши маешь?

— Нет у меня грошей, я завтра тебе отдам.

— Шукай вас на завтра, вы еще мабудь в ночи втечете, ни, це не можно. Не хочу я. Ходи з нами повечераешь. Да вылазь з хаты, хлопчики та дивчатка хотят тебя побачить.

— Сердитая ты, бабушка.

— Не сердитая я, ни, али на вас на всех не настачишь. У вивторок яку гарну гуску взяли вон те, што в патлатых шапках. Не дам тоби, гляди еще, яка вояка знашлась!

Старуха хлопнула дверью. Во дворе меня обступила детвора.

— Прыська, дивись, дивись, якый хлопчик, а чоботы яки гарнесеньки, и шапка, як у москаля.

Ребята ощупывали меня со всех сторон, оглядывали. Старуха вышла на крыльцо и погнала внучат спать.

Хаты от лунного света кажутся еще белее, чем днем. Вот тут стоят три рядышком, как белые грибы, за ними большая хата, крытая жестью, еще

две карликовых, а вот в этой, огороженной зеленым заборчиком, живет Давид Маркович.

— Вот я и пришла, здравствуйте!

— Здравствуйте, Зина. Какие у вас хорошие сапоги, кто же это вам их преподнес?

Вынимаю из кармана записочку и даю ее Шанскому.

— Земляничное варенье! Ну, что же, не плохо, и сапоги хорошие. А итти вам, Зина, к нему не советую, поручика Замбора знаю очень хорошо, не следует вам к нему ходить. Оставайтесь-ка лучше у меня, варенья у меня нет, а вот мед в сотах могу вам предложить.

Давид Маркович закурил и быстро зашагал по комнате, временами, задерживаясь возле меня, подолгу всматривался. Я смотрю на полевую карту, лежащую на столе, и расспрашиваю его, как узнавать ориентировочные знаки. Давид Маркович мне объясняет толково и понятно.

— Ну, хватит, Зина, на сегодня, давайте так о чем-нибудь потолкуем. Итак, говорите, вам здесь нравится?

— Да, интересно.

— Это, конечно, несколько оригинально находить интерес там, где царит смерть, где машина капиталистов перемалывает человеческие тела для завоевания рынков. Мне вы, пожалуй, понятны, и я оправдываю вас только потому, что вы еще в сущности дитя, и дитя вы сейчас со многими

нянькам, только смотрите, чтоб не получилось так, как говорит поговорка: «У семи нянек—дитя без глаза».

— Я вас не совсем понимаю, Давид Маркович. Какие у меня няньки?

— Бросьте, Зиночка, что вы сами не видите, как с вами няньчатся офицеры, ведь я немножко наблюдательный человек, и в офицерскую лавочку частенько заглядываю и видел и слышал не раз, как разговаривали между собой денщики, покупая для вас конфеты и разные там одеколоны. Особенного, конечно, тут ничего нет, каждый норовит чем-нибудь вам угодить, чтоб заслужить ваше внимание. Вы для всех большая приманка. Здесь передовые позиции, и все так ясно.

— У меня мало знакомых офицеров, и никому я не уделяю внимания.

— То, что вы не уделяете никому внимания, я знаю, даже недавно был сам свидетелем, только тут я просто хочу говорить о вашей нечуткости. Вы возвращались из офицерской лавочки, где купили папиросы, я шел за вами и видел, когда к вам подошел солдат и попросил папироску — вы ему отказали.

— Давид Маркович, папиросы были не мои, меня просил купить батальонный.

— Это абсолютно не важно, чьи они были, тем более, если батальонного. Вы ведь знаете, что если бы вы взяли и десяток из них — наш пре-

красный батальонный ничего бы вам не сказал, только бы мило улыбнулся. Я уж вам говорил однажды, что вы проходите мимо всего того, что творится вокруг вас, вы этого не замечаете. Знаете ли вы, что эта ужасная война, в которой вы находите для себя развлечение — ужасна, ужасна в своей страшной бессмыслице? Капиталисты заставляют народ итти на войну, разоряют непосильными налогами и без того жалкое народное хозяйство. Знаете ли вы, что эта война ужасна своим обманом? Над народом властвует тьма, и его гонят сюда, внушая ему необходимость защищать родину, царя и отечество. Но скоро народ сознает всю нелепость этой бойни и поймет, где его враг. Время не останавливается, жизнь идет и жизнь учит людей. Вы, Зиночка, живете ведь, живете? Так? А жизнь, Зина, это — люди. И вы должны понимать людей, неужели вы совершенно не чутки? Неужели вы смотрите на них, на всех вот этих окружающих вас людей, как на оловянных солдатиков? «Забавно, интересно», — говорите вы, Зина, подумайте вы, избалованное дитя, над этими словами, вы не маленькая уже, Зиночка, вам ведь шестнадцать лет. Здесь, Зина, еще больше люди узнают друг друга, и если уж на вашу долю выпало так, что вы забрели сюда к нам, вы отсюда не уйдете прежней, вы переменитесь. И я, пожалуй, сильно бы желал увидеться и говорить с вами через год. Год на войне — это дол-

гий год. Не уходите в себя, как улитка в раковину, откройте свою душу и отдайте людям все, что в ней есть хорошего и не притворяйтесь, откиньте ваше ненужное кокетство.

— Давид Маркович, я пойду домой.

— Почему? Я разве нагнал на вас уныние? Вам скучно все это слушать?

В дверь постучали. Вошел Сашка. Давид Маркович угостил Сашку медом и притащил горшок с молоком. Меня клонило ко сну, и я, подогнув одеяло на постели Шанского, улеглась. Не знаю, сколько я проспала, открыла глаза, и не хотелось шевелиться, я так и лежала, повернувшись лицом к стенке. Давид Маркович и Сашка говорили полушопотом.

— Да, Гусев. Такие вот дела. Понял? Ну, а как тебе Зина нравится?

— Да, так сказать — ни рыба, ни мясо.

— Сашка, бессовестный, почему я не рыба и не мясо?

— Ах ты, козявка, ты чего ж это с молчанием лежала целый час, а как о тебе заговорили, голос подаешь?

— Сашка, я не козявка!

— Не верещи!

— Я не верещу, а вот ты чего ругаешься? Бессовестный!

— Я тебе человек не без совести, а ты чего уши развесила, курносая?

— Я не курносая, замолчи!

— Да бросьте вы, оставь, Сашка, Зину, ну, чего ты на нее напал? Подумаешь, какая конспирация, ничего страшного нет, ну, и слышала!

— Тут дело не в конспирации, а в совести.

— Хватит вам. Миритесь сейчас же!

Я уже еле сдерживалась от смеха, посмотрела на Сашку и протянула ему руку, он ударил по ней больно и сжал в своих руках. Мы попрощались с Шанским и ушли.

Я направилась к себе на квартиру. Деревня спит. Отдаленные раскаты пушечного грома не нарушают сна. Среди темнеющей гущи садов неподвижны высокие тополи-истуканы. В воздухе аромат зрелых яблок. Двор и огород моей хозяйки обнесен забором из ивовых прутьев. На тычки забора надеты глиняные горшки. Скрипучая калитка впускает меня во двор. Иду насвистывая. На крылечке хаты лежит кошка. Разбуженная моим свистом, она поднялась и выгнула дугой свою спину. Трется о мои сапоги, мяучит. Стучу в дверь, старуха, недовольная, открывает, впускает меня и кошку.

— Як злодiи лазите в ночi, — говорит старуха и уходит на свою половину.

Ветки деревьев клонятся под тяжестью плодов. Там, у плетня, в канаве, старая груша с дуплом. Сладкие груши-панны усеяны осой-лакомкой.

Румяная черноокая Маринка — соседская дочка — помогает старухе собирать сливы. Острыми, как у белки, зубами грызет сочное яблоко Маринка. Ее красный платочек мелькает меж деревьев.

Пятилетняя внучка Прыська носит сухие ветки в сушарню, подбрасывает их в огонь.

Маринка остановилась, заглядывает на верхушку яблони. Небольшое деревцо, и на нем только одно яблоко.

Поручик Замбор перелез через плетень. Размахивая стэком, он направился к Маринке. Подошел к деревцу с одиноким восковым яблоком. Бросил в яблоню стэком, посыпались листья. Маринка подскочила к поручику:

— Не зачипай! Не видишь, яке воно гарнесеньке, пускай собі висит. Не зачипай, чуешь?

— Дурная девка, зачем тебе оно, когда свое такое наливное!

Резкое движение, и Маринка забилась под щипками в объятиях Замбора. На траве, у ее ног, упавший с головы платочек-мак.

— Ой, боже ж мій, ой, лишенько! — кричит не своим голосом Маринка.

— Здравия желаю, ваше благородие! — подбежав, выпалила я.

Поручик отскочил от дивчины, повернулся на каблучках и, посмотрев на меня своим ястребиным взглядом, поднял стэк и ушел.

Маринка смотрела на меня — затуманившийся взгляд говорил «спасибо».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Участок первого батальона считался почему-то наиболее важным. Офицеры в разговоре между собой называли его «ключом позиции». Роты занимали кладбище и мельницу, стоящую на краю села. От мельницы к кладбищу тянулась небольшая долина, по которой струилась гнилая речушка. Было в ней воды не больше, чем по колено, но долина речушки была непроходима. Она была ярко-зеленой, как будто ее несколько дней под ряд красили маляры. И по ней тут и там пестрели цветочки.

Кладбище было на суходоле. Заброшенная его часть тянулась вверх к селу на горбок. Здесь было много кустов и многолетних деревьев. С этой точки кладбища вправо, километров за десять, виднелись зигзаги окопов и влево, в ста шагах — мельница.

У мельницы тянулась плотина и лежал, словно полное блюдце, искусственный пруд. Беспрестанно обвисая водяными штыками, вертелось в воде колесо.

Никого не было в мельнице, и жернова, стираясь друг о друга, шли вхолостую. Не раз приходил хозяин к батальонному просить разрешения

остановить колесо. Крестьянина каждый раз выгонял вестовой.

С кладбища были видны окопы немцев и их батареи. Неизвестно, были они настоящие или фальшивые, но ясно, особенно с восходом солнца, различались лафеты орудий.

Две роты занимали кладбище. Одна мельницу и одна стояла в резерве на опушке села. Все кладбище было изрыто окопами. Их каждый день углубляли, как говорил фельдфебель, делали «полный профель». Рыли ниши и для боевых припасов. Бойницы присыпали новым слоем земли.

Долго просили мужики подполковника Кривдина разрешить подобрать скелеты. И на окраине кладбища, поближе к деревне, вырыли большую яму. Устроили братскую могилу для скелетов, выброшенных из их последних убежищ.

По ночам наряжали людей ставить рогатки и натягивать проволоку. Перед кладбищем выросло пять рядов кольев.

Рыли землю и возле мельницы, но там это делалось медленно и не с таким рвением.

Лишь долина пребывала в покое. На ней не было ни одного существа. Днем, когда пригревало солнце, над желтыми цветочками вились темные бабочки. Да ночью на ее тропинках залегали секреты.

Последнюю неделю немцы держались спокойно. Раньше не было ни одного дня или ночи, чтобы

проходили без немецких атак. Никто не думал о сопротивлении германцам. Только на всякий случай считали, сколько километров успеем сделать за день.

Каждый день в течение недели, с восходом солнца, в полдень и когда на корже заходящего солнца вырисовывалась немецкая проволока, немцы посылали нам свою «почту», как говорили солдаты.

Над кладбищем рвалась шрапнель и мелкой дробью хлестала по старым крестам. Две шрапнели и пять гранат были отмеренной порцией. В это время возня в окопах прекращалась. Солдаты бросали работу и прилипали к внешним стенкам окопа. Дежурный офицер наклонялся над перископом.

— Немчура — аккуратный народ, не прозеват, — говорил Терехин, как только первая шрапнель белым гусем висла над кладбищем.

— Бьет в точку, как сына и дочку, — подтверждал Сашка, щуря свои синие глаза и беспечно гуляя по окопам взад и вперед.

Кривдин, словно черепаха, высовывался из своей землянки и, прячась в нее ненадолго, через минуту снова появлялся. Не глядя в окопы, он обращал вопросительный взгляд на дежурного. По его спине он определял положение. Он быстро делал свое заключение и снова возвращался в землянку.

Так продолжалось семь долгих дней. Днем тревоги не замечалось. Немцы оттарабанят, и в окопах начинается прежняя жизнь.

Солдаты нашей роты с унтерами и фельдфебелем уходили на работы, ставили проволоку и рыли окопы. Офицеры собирались к Кривдину и просиживали у него в блиндаже все дни напролет.

По ночам одну треть солдат заставляли дежурить. Им не разрешали ни сидеть, ни ложиться. Они беспрерывно стояли у бойниц. Кривдин тоже не спал. При малейшем шорохе он выскакивал из землянки наружу. Полевой телефон стонал всю ночь. Кривдин лично вызывал резервную роту, справляясь у ее командира, не ушел ли он спать на село.

Внезапность ночных атак пугала всех.

Утром пятого июля, как только кто-то невидимый выключил солнечный свет, немцы уже посылали на кладбище свои боевые посылки. Отсчитав две шрапнели и пять гранат, солдаты стали отклеиваться от внешней стенки окопа. По ходам сообщения ротные раздатчики несли ведрами чай.

— Кипятку бы хлебнуть, кишку разморить, — бросил лениво Трофим, вытягивая из-за голенища алюминиевую ложку без ручки.

Жжжвах! — раздалось из хода сообщения. Над ним взлетела земля. К ногам Терехина кувыркаясь покатилось ведро, разливая остывшую мутную воду. За дужку вцепилась оторванная по локоть рука.

За этим разрывом последовало десять, а может быть двадцать или тридцать ударов.

Перед кладбищем и плотиной возникали вспышки огня и земли. Солдаты опять приникли к стенке окопа. Из убежища Кривдина, пристегивая на ходу шашки, посыпались офицеры. Кривдин был с ними. И сейчас он казался еще чернее обычного, цвет его лица сливался с его коричневым френчем. Он весь согнулся и казался еще меньше ростом. Сутулясь, он побежал по ходу сообщения и прилип к одной из бойниц. От нее перешел к перископу.

— Вот бьет без задержки, — заметил Трофим.

— За неделю вперед посылат, — добавил курносый солдатик, вернувшийся недавно из лазарета.

— Кожа лопнула, вот и посыпалась каша, — шутил Сашка.

— А ты поди затачай, — посылает Сашку Трофим.

— Поди высунься, — огрызнулся Сашка. — Может долезешь... Послужи, брат, миру, вишь что поделалось с народом.

Немец крыл, будто где-то в ряд выстроились сотни великанов и по команде хлопали большими конвертами. Снаряды рвали в клочья взрытую землю. В окопы летели щепки крестов.

— Господа офицеры, по местам! Надо ждать немецкой атаки.

Наши пушки молчали. Командир батареи во-

зился около Кривдина и все время что-то передавал по телефону своей батарее.

Германцы били без перерыва. На кладбище и в окопах падало много снарядов. Лопалось где-то все впереди кладбища, там, где стояли проволочные заграждения. Там же были и волчьи ямы.

Курносый солдатик стоял у бойницы и мелкой тряской мотал головой. Подбородок его вытянулся, и казалось, что он ввинчивается в пространство.

— Ну и рветь, ну и рветь, чисто на шматки! Прямо бреет, сукин сын. Аж ни одной ниточки не осталось, — говорил курносый, не отрываясь от бойницы и не переставая мотать головой.

Я отодвинула курносого и сама стала у бойницы.

Немецкие пушки, освещенные восходящим солнцем, беспрестанно дышали бледным огнем.

Траншеи немцев безжизненны. Вот оттуда вылезло несколько фигур.

Они подобрались к своей проволоке и стали снимать рогатки.

Впереди, где еще полчаса тому назад стояли наши заграждения, было свеже взрытое пространство. Кое-где лишь торчали голые колья.

Немецкие снаряды оглушительной поступью стали шагать по нашим окопам. Покрылась разрывами плотина и все пространство около мельницы. В миг что-то лопнуло, и пруд стремительно

хлынул, падая шумными каскадами через плотину.

Забурлила бушуя белая масса курчавой пены.

Колесо мельницы перестало вращаться.

Снаряды продолжали падать в окопы и около них. Артиллерийский офицер подавал команду на батарею. Оттуда послышались одиночные выстрелы, потом пушки перешли на стрельбу беспрерывными залпами. Выбравшись из траншеи, двигались через спелое жито немецкие цепи. Они покрыли собою все несжатое поле. Впереди двигались редкие цепочки, а за ними немецкие колонки. Они продвигались вперед. Заработали пулеметы. По пристрелянным точкам били пулеметчики и лучшие стрелки. Падали, как срезанные колосья, немецкие каски. Но вмиг колонки выбрасывали от себя новую цепочку. И их шествие продолжалось беспрерывно вперед. Немцы не ложились. Наши снаряды падали метко в немецкие колонки и немецкие цепи. На месте разрывов оставались серые фигуры, устлавшие в течение нескольких минут все поле перед окопами. Но к немцам спешили резервы, и как ни в чем не бывало новые линии, прикрывая движение новых колонок, лезли в нашу сторону. У пулеметов выросли кучи стрелянных гильз. Солдаты не отрывались от бойниц, посылая немцам пулю за пулей.

Не прекращался рев германских батарей.

Уж третий взвод нашей роты, оставив в окопе половину людей, перешел в резервную линию. Немцы продвигались все ближе и ближе.

Вдруг раздалась команда:

— За бруствер, в контр-атаку!

Командир роты Ерош, отстегнув шашку и взяв винтовку у первого попавшегося убитого солдата, первый стал взбираться по ступенькам окопа. За ним один за другим, цепляясь ногтями за дерн, полезли солдаты. Передние опускали нижним свои приклады, и в течение двух минут вся рота была уже вне окопов.

Люди бежали вперед. Из соседних окопов вылезла вторая рота. Из деревни пришел резерв. Пришедший с ним поручик Замбор бегал, крича:

— С богом, вперед, братцы!

Резерв покатился вперед. Замбор остался с Кривдиным.

Немецкие снаряды стали падать в наши ряды. Кое-где уже падали люди, приминая под себя налитые колосья. Роты продвигались вперед.

В ста шагах от немецких групп ротный Ерош крикнул ура и скачками стал надвигаться на немцев. Солдаты не отставали. По ржаному полю покатилось ура.

Германцы замялись. Но, спустя полминуты, они оправились и бегом бросились на русские линии.

В одну секунду скрестились штыки. Артиллерия перенесла свой огонь на наши резервы. В рус-

ских и немецких линиях оборвалось «Гох» и «Ура». Противники дрались молча, не издавая ни одного громкого звука. Наши солдаты дрались, всаживая штыки с таким звуком, как будто они рубили дрова. Немцы отбивались спокойными рассчитанными ударами.

Голубыми казались лица под черными касками...

Какой-то крупный немецкий солдат набросился на нашего курносого парня. Курносый, казавшийся перед немцем ребенком, устремил глаза, полные ужаса, на кончик плоского штыка огромного немца. Он выронил свою винтовку и судорожными руками схватился за неприятельский штык. Падая на землю с проткнутым животом, он не переставал тужиться, стараясь остановить неумолимый ход стального ножа.

Русские и немцы дрались из последних сил.

Вдали, застыв, остановились наши и немецкие резервы.

Глядя друг другу в лицо, стали отходить спинами назад уцелевшие от штыковой схватки русские и немецкие солдаты.

Попятились в окопы резервы тех и других.

Долго, отставляя осторожно ногу за ногу назад, с зажатыми в руке винтовками, не меняя положения — «к бою готовьсь», отходили русские и немцы шаг за шагом назад.

В это время замолкли и пушки.

Июльским пеклом сожженная речушка. Покрытая мохом водяная мельница молчит. Порывы ветра поднимают рожь, как бы перегоняя друг друга, набегут волной колосья и, как в прибое, снова отхлынут. Словно манят, зовут кого-то...

Свинцовый град пригибает жито. Гранатой молотит. Малейшее дуновение ветерка, — и воздух заражен трупным запахом. Люди отталкиваются от бойниц, прячут лица в расстегнутые гимнастерки. Все пропитано этим разлагающим запахом. Отравлен воздух. Человек жаждет воды, тянется к наполненному водой котелку, зажимая нос, пьет. Набранная вода разит трупным гноем.

Солдат отвалил заступом лопаты пласт земли, припал лицом к чернозему. Вдыхал его аромат. Мучительные дни.

В полдень со стороны немецких окопов показалась группа немецких офицеров. Они шли в нашу сторону с белым флагом. От нас высылается два офицера. Немецкому лейтенанту завязывают глаза платком, ведут в наши окопы. С парламентером объясняется поручик Замбор. С общего согласия решено убрать трупы.

Я иду с фельдшером Наумычем.

На оставшемся клочке помятой ржи лежат трупы русских и немцев. Блестит лак германской каски на чудовищной голове. Глаза немца вышли из орбит. Коричневая набухшая кожа лопнула возле ушей. Стекающий густой гной задержи-

вается присосавшимися огромными мухами. Мухи с блестящим зеленым пузом медленно выползают из широко открытой полости рта. Тут же рядом — ничком до земли русский солдат. Больше чем половина черепа снесена осколком снаряда. В зияющей дыре копошатся мертвоеды. Руки убитого запрокинуты, выкрючены в ладонях.

Раскинувшись меж золотых колосьев, лежит прапорщик Ерош. Рука в гнойном своем нарыве держит винтовку. Усатый жук-дровосек пилит крышечку портсигара, валяющегося в ногах юноши.

Наумыч подзывает санитаров.

— Страхилаты-то какие, о господи Иисусе Христе, до чего ж их разворотило!

Наумыч крестится.

Полуденный зной. Ни дуновения ветерка. Временами перестаешь дышать. Санитары спешно копают яму. От прикосновения к истекающим гноем трупам — разящий смрад.

— Ой, братцы, в середке мне мутит, нутро на блевотину подымает.

Санитар отходит в сторону. Его рвет.

Убитых закапывают. Полковой священник усердно машет кадилом. Сладкий запах ладана, смешиваясь с трупным, действует еще тошнотворнее.

Трупы засыпали землей. Над могилами кружится мошкара.

Ночь — сон давящий. Будто собакой я стала, голова только моя. Виляя хвостом бегаю меж разбухших трупов, зализываю гной у лопнувшей кожи, пониже к шее — над ухом. Гнойная течь пробирается в мой нос, в горло — душит.

В поту просыпаюсь. Мне страшно. В землянке тихо. Провожу ладонью по широко открытому рту.

В горле все пересохло, дышать попрежнему трудно, и не могу уснуть.

Имея хоть малейшую возможность передвигаться самостоятельно, раненые шли на перевязочный пункт. Пулеметчик Кириллов с трудом пробирался ходом сообщения, придерживая свою правую руку. Клочьями спадала окровавленная шинель с его простреленного плеча.

Путающимся в пальцах длинным волосом табака набивал трубку полковник Плахов, командир полка.

Мимо прошел раненный пулеметчик.

— Стой, стерва сиволапая!

Фельдфебель полицейской команды Дубело, заслышав голос повелителя, словно по «щучьему велению» предстал пред грозные очи полковника.

— Остановить его, задержать! — и, показывая на медленно идущего пулеметчика, Плахов кольцами выпустил табачный дым.

Раненого остановили.

Заложив руки назад, надвигался на него командир полка.

— Почему прошел, толкнув меня, и не извинился?

Инстинктивно левая рука солдата прижалась к изуродованному плечу.

— Отвечать, сукин сын!

— Я ранен. Иду на пункт.

— Начальства не уважать?

Подпрыгнул вверх посох Плахова, резко ударил, отскочил от скулы солдата и снова укрепился в руке полковника.

— Пощадите, пощадите, ваше высок . . . — солдат не договорил, упал в обморок.

Бережно поддерживаемая рука свинцом ударилась о землю.

Сумерки занавесом задернули отдаляющийся дым трубки полковника.

В нашем убежище четверо солдат сидят на одной лежанке, а два солдата примостились у порога. Никто не сел возле меня, не хотели тревожить. Днем приходил Наумыч, дал мне порошок и обещал с кухней отправить в околодок.

Табачным дымом заволокло землянку. Лица солдат серели в дыму.

В моей голове трещало кузнечиками.

— Ты, Климыч, говоришь, что война нам в выгодность пойдет. Не нужна она нам, говорю тебе.

Все равно хоть наши, хоть германцы победят, одно дело — попрежнему, так сказать, шкуру начнут тянуть. Нет, братцы, тут дело не в том. Вся заноза в том, что земли нам не достать и неоткуда ее ждать, как не от самих себя. Народ притесненный, знищалый в нужде, озверелый теперь, и памятуйте мое слово: будет в России восстания, и будет она большого калибра.

Сашка кончил говорить, нагнулся к Климычу, прикурил. В разговор вмешался Черешенко:

— А нам Давид Маркович так говорил, що треба так соделать, щоб народ сам управлял в государствах и щоб... царя спихнути, — совсем тихо сказал Черешенко и продолжал: — А мы ему говорим: як це так? Без ходзяина государство само управится?

Запорожец, покрутив усы, перебил Черешенко:

— Да ты дурній, Черешенко, ведь говорил Давидка-то, що з народу выборні таки будут и що они волю народа будут докладать десь на собраниях и в жисть вправлять. О! А ты слышал, да не дослышал.

— Вот так и есть, я все понял, Запорожец, только може не так рассказал, он, Давидка-то, с башкой и солодко так спивае, як соловей, як бы таке життя було, як вин рассказывает.

— А вот, как умом пораскинешь, мозгой поворочаешь — и правда: на чорта австрияка колем, немца колотим? Солдаты — они и також в под-

чинении у начальства, поди-ка и его брата фендрик либо литинант мордует. Ну, немец — тот и вправду лютый, а что касается австрийцев — то они без охоты идут против нас. Его либо герман в шею пхает, либо мадьяр. Такой уж он смирный, под Топоруцами-то сколько их в плен сдалось, как посыпали к нам в тыл, словно та саранча.

Солдат вытер рукой рот и вопрошающе смотрел на своих соседей, словно хотел узнать, какое на них впечатление произвели его слова.

Снова начал говорить Сашка:

— Я вам так буду говорить. Был такой случай со мной. Годков мне было шестнадцать в то время, поехал это я в деревню, куда моя сестра была замуж выдана. Вот там я и узнал всю вредность от бар. Жил от той деревни — километров будет с пяток — барин. Ходит он — рыло у него лукошком, пузо — бочкой. От его усадьбы километров на двадцать тянулся лес. Я как-то приехал к сестре под Троицын день, ну, не без того, с девкой закрутил. И вот в воскресение мы с ней пошли на гуляние. Похороводили малость и, так сказать, айда в лесок. Дело молодое. Потребность была у нас с ней от глаз людских укрыться. Шли мы с ней, шли, и бог ведает, куда забрели, да все шли с поцелуями. Уже и солнышко зашло. А мы все идем да идем без устали. Забрели в березовую рощу. Аромат там, что сказать! Идем, словно оба как пьяные, ноги шатаются, ну, при-

легли. Береза над нами стоит распущена, мотыльки кружатся. Лежим, балуемся. Только видим — идет дед, да такой уж старенький. Тут Глаша, так сказать, ко мне с обращением: «Саша, Сашенька, это куда ж он идет, ему сотый годок пошел, пасечник он, а до его пасеки отсюда версты три будет, окликни его, Саша, может заблудил, глаза-то у него плохо видят». Встали мы с Глашей, подходим к деду. Я его спрашиваю: «Ты куда, дедушка?» Молчит. Ну, думаю, глуховат, не слышит, да, так сказать, ему снова и говорю под самое ухо: «Ты куда идешь?» — «К барину, говорит, иду к барину. Слуга его приезжал и доложил мне: явись, говорит, к барину нашему Николаю Витальевичу, объяснение хочет от тебя услышать, почему мед плохой представил». Сел дедушка на пенек, отдыхает. «А далече еще итти-то?» — спрашивает нас.

— А вы ему што? На плечи его взвалили, што ли? — спросил Черешенко.

— Не взвалили мы его, нет, а взяли с Глашей под руки и повели. Хлопот нам с ним было немало, но до деревни довели. Только малость переспали в бору.

— Медово спали-то? А? — Климыч рассмеялся.

— Таить не буду — не плохо было, по весне ведь я Глашку-то повстречал. И вот попрощался я с миленькой и пошел с дедом к барину. Привел его в господский двор. Вспомнить, братцы, —

сердце мое болит, ни в жизнь не забуду. Лет мне, так сказать, было тогда немного, и так этот случай на память мою свежую запал — не забуду. Выходит это эконом Сведомского, а в руках у него тарелка с медом, а мед в сотах черный, черный. Подходит барин к деду и как хвать соты с тарелки да так в лицо ему и хлобыснул. Упал старик на колени. Валяется, всякие извинения просит. «Веди его, говорит, Иваныч, подогрей его гнилье». Повели старика в сарай, и шел дед, молчал. Я спрятался за сарай, а в щелку мне все видать. Там, в сарае, тиковые ему спустили и давай лупцовать. Без ущемления в сердце не могу вспомнить я его лица. Запрокинул он бороду, лицо и волосы все медом перепачканные, сено налипло. Стонет дед, и словно от него какой бред исходит: «Ой... ой... ой... ой... летят голубчи... ки, летят мои пчелки маленькие...» — да ни слова больше и не сказал — испустил дух.

Сашка замолчал.

Где-то охнула гаубица.

На двери задергалась палатка. Вошел Наумыч.

— Идем, хворая, за тобой пришел.

Мы вышли с Наумычем и через ход сообщения направились в лощину, где стояли кухни.

В стодоле, разгрузив карманы от груш, я улеглась на пахучем сене. Я долго думала, вспоминая свой разговор с Давидом Марковичем. Он,

конечно, говорил мне правду — я много видала здесь горя и мало радости вокруг. Но старалась не задумываться над этим, я всегда, каждый раз отгоняла от себя думы о жизни, хотя и понимала уже, что в ней много тяжелого. Когда я порой задумывалась над чьим-нибудь горем, мне хотелось быть подальше от него. Хотелось пожить немного еще так, чтоб видеть все светлое и хорошее в людях и подольше не узнавать людского зла.

Я старалась не вглядываться в страдания раненых. Я помню, — в окопе после боя лежал изуродованный австриец, совсем еще молодой, — я на него смотрела долго, и передо мной промелькнул образ его матери, ведь у него, наверное, была мать, которая ждала его и думала о нем. Мне было очень тяжело глядеть на умирающего, у меня слезы навертывались на глаза, и тут же, словно стряхнув с себя какую-то тяжесть, я отвернулась от австрийца. Отвернулась и ушла. Быстро ушла к себе в землянку, там солдаты играли на гармошке и было очень весело. Кто-то из разведчиков склеил клоунскую маску и, надев ее, отплясывал русскую. Я присоединилась к разведчику и тоже плясала, забыв умирающего в окопе.

А вечером, когда все разошлись — я вспомнила австрийца, и мне было очень тяжело, но я всячески старалась отогнать от себя его образ. Мне

хотелось еще веселиться с разведчиками и беззаботно смеяться. На утро, когда я проснулась, мне опять вспомнился тот умирающий. Я встала, начала одеваться. Наклонилась к сапогам. На полу валялась клоунская маска разведчика. Я встала и выкинула ее за траверс.

Эх ты, жисть-прожисть горемычная!
Пойти куды ж, кому жалиться —
Кто поверит нам
Доброй душенькой откликаючись...

заунывно тянет свою песню Трофим.

— Садись, Сашка, на пенек, подождем Зинку. Да ты чего-то скучный?

— Разве ныне жизнь, Трофим? По нескольку месяцев бабы не видишь. А по ней скука берет. Она, баба, что ни говори, а, так сказать — элемент мягкий.

— Ты, Сашка, паренек что надо, нечего жалиться. Да и здесь тебе, кроме огневой опасности, ежели что касается того самого, то и здесь раздолье тебе. Ты, Сашка, смотри, чтоб зараза какая не объявилась. Не дождать Зинки-то, а у меня просьба к ней — письмо в Липки прописать, она все ж красивей тебя пишет.

Позевывая, я выхожу из стодолы.

— Дрыхнула? Мы к тебе в халупу стучали, не оказалось тебя. Сутками отсыпаешься. Глаза тебе позапухают, Зин. Никакого тебе волнения нету, ничего ты в думках не имеешь, тебе все

одно, все ладно. Завсегда ходишь — улыбаешься. Пойдем, Зин, в хату, письмо бабе напиши. Ну, вытянись еще, ой, лености-то в тебе сколько!

Трофим слегка ударил меня под затылок. Сашка запел мягким тенором:

Эх, тых-ма да эх тых-на!
Для чаво ж эта война?
Во дворцах баре дерутся,
Пирогами обожрутся,
У народа слезы льются...
Эх, тых-ма да эх тых-на!

Гусев, не отогнув полосатого рядна, плюхнулся в грязных сапогах на мою кровать. Терехин сел в углу на скамейку под иконостасом, утыканным бумажными цветами. Выцветшие бумажные розы загажены мухами. Грелись кучками усатые «прусаки», облепив печку. Стрекотал назойливый сверчок-невидимка.

Склонив голову над непокрытым скатертью столом, остро наточенным карандашиком выковыривал Трофим въевшуюся грязь из щелей стола.

— Ну, думай, Трофим, буду писать.

Вначале я перечислила идущие обычно в солдатских письмах бесконечные поклоны и изредка спрашивала Трофима какое-нибудь имя из его родни, не запомнившееся мне.

— Всем откланялась, теперь пиши про самый сурьез.

Однородная моя Клавдия Касьяновна!

Душа моя тоскою изгложена по тебе, прописанные в письмеце жалобы твои на недород жита на нашей земле по причинах градобития острой бритвой сердце мое полыхнули. Оборвалось у меня в грудях чего-то, голова — чугун, аппетитов до еды не стало. Известно чать, голодуха — она не молодуха. От нее радости никакой, кроме беды. Беда тебе с Васюткой и Машкой. Любезная Клавдия, пропишу к тебе — вчера снилось мне, будто я спал на полатях в своей избе и паучище огромадный, до моего носа спускавшись, кровяную выблевывал паутину да всего и опутал меня алой ниткою. Теснота во всем теле моем оказалась — не знать, как проснулся, только страх меня обуял, креститься почал. Не к добру, Клавдюшка, сон такой.

На этих строчках Трофим замолчал, углубился в свои думы. Поставив точку, я выводила карандашом круг за кругом. Сашка храпел с присвистом, где-то за печкой стрекотал неугомонный сверчок.

По улице, проталопировав на своем сером коне, штаб-горнист Лукьянченко играл сбор.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пыля, на Синуху ушел авангард. Полк ожидал его удаления. Батальоны устроили привал на опушке села. Роты разбили свой строй. Солдаты собрались в кучки. Ружья не ставили в козлы. Каждый держал винтовку в руках.

Огромное горячее солнце спускалось к горизонту на тормозах. Его косые лучи лезли под кожу. Они расплавляли нутро.

Трофим Терехин сидел под тыном и снимал сапоги. Его черные волосы отливали на солнышке, словно воронье крыло. Сашка, подымаясь на корточки, лез из себя. Он старался наткнуть на штык зрелое яблоко. Деревья господского сада были ими густо усеяны.

— Смотри, — бросил Трофим, — не пропори ему пузо. Как бы барин не потянул за потраву.

— Барин, велико теперь дело, к мировому, так сказать, далеко — нас немец рассудит, — ответил Сашка, обтирая с винтовки яблочный сок.

Терехин, просушив портянки, натянул сапоги.

— Водички б испить, — ссохшимися губами сказал Трофим и стал обводить зрачками все закоулки околицы. Вместе со зрачками неотступно бегал, обтянутый паутинкой красных ниточек, воспаленный белок.

На околице стоял помещичий дом. Ленивым шагом пошел он туда. За ним двинулась кучка солдат. Всем им хотелось пить. Долго стояли они у ворот, не решаясь войти.

Гусев отделился от группы и вошел в помещичий двор. Через минуту показался работник с водой. Он не выпускал ведра из своих рук.

Поочередно подносил работник ведро к желобам спекшихся губ.

— Становись! — крикнул фельдфебель-«рашпиль».

Обтираясь на ходу рукавами, солдаты ринулись в строй.

Вдали над авангардом повисли пыльные простыни. Они были ярко окрашены лучами заката. Растянулся по выбитой дороге авангард, поднимая к небу тучи пыли. От авангарда назад к полку тянулись темные подвижные точки. Это была парная цепочка постов. Цепочка была словно резиновая. Она то растягивалась, то сжималась в зависимости от взаимного удаления авангарда и полка.

На последний свой порох грело солнце. Вместе с тем казалось, что оно растворилось в воздухе. Воздух становился все более горячим и тяжелым. Стало невыносимо трудно дышать. Вяло передвигались роты.

— Песельники, вперед! — покатилось с головы батальона.

«Песельники», обгоняя ряды, лениво пробирались вперед.

Терехин не пел, хотя и любил слушать солдатские песни.

— Хороша песня — нутро зажигат, — говаривал он.

Теперь он был недоволен. Когда песенники затянули «Горные вершины, я вас вижу вновь», он вполголоса бросил соседу:

— Ишь, черти, в таку жару заставляют людей песни играть!

— Молчи, Трофим. А то кабы у тебя душа не заиграла, — остановил его Сашка.

Горные вершины, я вас вижу вновь...

надрывали свои голоса запевалы. Солдаты подхватили:

Карпатские долины, кладбища удальцов...

Обрывалась песня на пересохших губах. Командир полка подхлестнул свою рябую «Грациану» и потрусил к авангарду. «Песельников» отослали в ряды.

Через полчаса устроили малый привал.

— Вольно! Оправиться! — привычно бросил батальонный.

Солдаты прикладывали поочередно толстый палец к ноздре. Вмиг заработали сотни разноголосых сирен. Словно мукою обволакивалась падавшая на землю черная слизь. Солдаты, не сходя с дороги, растягивали ширинки и делали нужное дело. Они приседали в канавки, опираясь на приклады, спускали штаны. Над канавками закружились огромные мухи.

Через пять минут тронулись дальше. После отдыха дорога казалась еще тяжелее. Болели кости. Ныло все существо.

Вправо от дороги появился редкий кустарник.

По мере продвижения он стал учащаться. За ним вырос лиственный лес. Под навесами кленов ютилась дорога, изгибаясь змеей.

Впереди, у крутого поворота, из-за густой листвы вырос огромный тягучий язык. Росла ежесекундно вылезшая туча. Как будто там, за лесом, ее накачивал огромный насос.

Не прошло и десяти минут, как полнеба было залито наводнением туч. Еще миг, и небосклон был задернут непроницаемым дегтем. Внизу стало темно. В немой тишине жались друг к другу испуганные деревья. По верхушкам леса, словно в мягких туфлях, ходил ветерок.

Как в бане, стало душно в рядах. Будто в недра глубокой реки погрузился полк. Солдаты без разрешения расстегивали рубашки.

— Быть грозе, — тихо промолвил Трофим.

При одном слове «гроза» меня бросило в холод. Я перестала ощущать невыносимую жару. Вмиг вспомнилась наша квартира. Там с началом грозы я могла закрыть все окна и двери. Там спасением от грозы служила кровать. Но здесь нельзя было закрыть ни дверей, ни окон. Здесь не было ни одной даже подушки, куда можно было бы зарыться головой.

От страха у меня в голове сверкали молнии и с грохотом катились чугунные бочки грозы. Я жалась к Трофиму, а Гусева взяла за рукав.

Вспыхнуло за лесом и вмиг погасло пламя ко-

стра. Забелел лес в небывалом сиянии. Серебром блестели стволы деревьев.

Не успел погаснуть чудеснейший фейерверк, как где-то вблизи грохнул о землю гигант-небоскреб. Точно бесконечные этажи нагоняли друг друга и со страшным треском рвали недра земли.

На один миг полк словно повис в воздухе. Как будто его остановила невидимая рука.

За первым грохотом где-то вдали глухими перекатами зашумели отдельные кирпичи и кирпичики.

— Господи Сусе Христе, спаси и помилуй нас грешных! — Терехин часто замахал перед своим почерневшим лицом.

Я невольно крикнула — ой! — и прижалась к раскисшему Сашке. Лица солдат собрались в кулак к самому носу. Удлинились носы. Даже у кирпатого Башмакина нос получил какую-то видимость. У всех стали маленькие лица и большие глаза. От разрядки могучего тока воздух стал легче и не так трудно было дышать.

Тихо урчало за горизонтом. Урчание близилось и нарастало. Катящиеся звуки усиливались. Нервы людей — натянутая струна. Ждали удара.

Невидимый ятаган разбойничьим махом распорол небеса. Ослепительная ртуть залила огромный разрез. На один момент ослепли глаза.

Я боялась раскрыть веки. Я ждала удара. Удар раздался в самом лесу.

Стало светло на дороге, как при магнии. Батальон, как по команде, шарахнулся от леса. Строй стал разбиваться. Перепутались роты.

Ряды двигались в большом беспорядке. Меня потянуло вперед. Хотелось куда-нибудь спрятаться. Казалось, что лучше огонь тысячи орудий, чем еще один удар этой ужасной грозы.

Я очутилась в голове батальона. Полковник Кривдин был бледен, как луна. Вне обыкновения он передвигался пешком. Своему ординарцу с конем он велел двигаться в хвосте батальона.

Кривдин обернулся. От вида беспорядка в рядах его покоробило.

— Черти!

Не успел крикнуть Кривдин, как новый удар заглушил его крик.

Над штыком солдата Ерохина вырос бесконечный, потянувшийся в небо огненный штык. Единым тяжелым охом вздохнула вся первая рота.

Кривдин запнулся на слове. Дрожащей рукой он стал незаметно плести форму распятия. Частые переплеты крестов ложились над самым пупом. Отвернувшись от фронта, он из-за пазухи вытянул ладонку. Синими губами стал он слюнить ее пропотевшую ткань.

Черный, как порох, лежал на земле Ерохин. Черная рука впилась в винтовку. Штык изогнулся крючком. На расстегнутой груди Ерохина мирно покоился крест.

— В землю б его закопать, — раздались голоса. — Отойдет мужик!

Фельдфебель первой роты робким шагом подошел к своему капитану.

— Ваше скородь, дозвольте взять винтовки штыком до земли.

Капитан двинулся к Кривдину. Полковник успел уже опомниться.

— Что за бестолковщина спрашивать, капитан? Самому надо знать.

За лесом раздался еще оглушительный взрыв. Две-три крупные капли дождя упали с неба. Следом за ними дождь пошел неудержимой волной. Стало легче дышать.

Небо распоролось. Через все прорехи вниз устремились потоки воды.

Как цыпленок ежась, я снова очутилась рядом с Терехиным. Трофим втянул голову в плечи. Его губы беспрерывно шептали. Он весь как бы отсутствовал. Мне хотелось с ним говорить. Но было ясно, что он меня не услышит.

Солдаты продолжали шлепать вразброд. Я беспрепятственно подвинулась к Сашке.

— Сашка, что ж это будет? — размякшим голосом спросила я.

— Все уже было, — ответил Сашка, — хужему не бывать. Илья пророк с финтифлюшками на лихаче прокатился. А хформенно, стерва, бьет. Какие зигзазы пускает, видела? Подпускает форсу

бабам Илья. А нашему Ерохину от этого форсу каюк.

Мне хотелось говорить. Хотелось отвлечься от невыветренных впечатлений грозы, но дождь шел с такой силой, что казалось, будто размокли не только кости, но и язык. Трудно было им шевелить.

Трудно было не только разговаривать, но и ходить. Земля расступалась под сапогами. Ноги скользили, оставляя по дороге длинные полосы. Спустя полчаса сапоги стали обвисать комьями липкой грязи.

Лошадь Кривдина впереди батальона тащила на себе его сухое, как мумия, тело. Шлепая по вязкой похлебке, она обдавала головные ряды грязью. Кутаясь в резиновый плащ, мурлыкал полковник.

Солдаты промокли дотла. Я сидела словно в бочке воды. Струйки дождя попадали за воротник и катились по дрожащему телу. Ткань набухала и липла к телу и ногам. Холодными гусеницами вода поползла по ногам в сапоги. Вскоре в них образовалось вещество липкое, как вазелин.

Кто-то в рядах неуверенно бросил:

— Шинеля б раскатать...

Другие голоса подхватили это желание:

— Шинеля, шинеля! — раздалось по всему батальону.

Офицеры были словно мертвые. Выручил снова

фельдфебель. Он продвинулся к ротному, а этот к Кривдину.

— Не разрешаю! — отрезал полковник. — На ночлеге нечем будет укрыться.

Сопровождаемые неотступным дождем ряды ползли вперед. Стало темно. Еще тяжелее сделалась дорога. Солдаты разговаривали, шумели, и даже кое-где вспыхивали огоньки козьих ножек. Начальство сделалось слепым и глухим.

Терехин шел молча, задумавшись. А быть может он спал. Голова его болталась, как привязанная. Вдруг он поскользнулся и вмиг выпрямился, как будто его угостили палкой. Последовал вопль впереди идущего солдата. Его соседи закричали:

— Носилки, носилки!

Вопивший получил штыковую рану в бедро. Терехинский штык пропорол солдата.

К Терехину подбежал фельдфебель.

— Баран, где твои бараньи банки были? — с этими словами он замахнулся своей жирной рукой.

Где-то вдали послышался отдаленный грохот, как будто крушение двух поездов. На секунду матовым светом ослепилось мокрое небо и горизонт. Фельдфебель разжал занесенный кулак и стал степенно креститься.

— Баран бараном и есть, — бросил он и этим разрядил свою злость.

Ротам было приказано взять винтовки по-

обычному. Над батальоном выросли стебли штыков.

В темноте, на фоне обмытого неба вырисовывались как вырезанные из бумаги контуры села. В нем брехали сотни собак. Собачий концерт сопровождал приход авангарда.

Грудь раскрылась. Ноги пошли легче. В воздухе стоял едва уловимый запах вкусных наваристых щей.

Ряды сами по себе уплотнились. Сосед лип к соседу. Нога применялась к ноге. Даже в вязкой грязи появились отзвуки четырехтактного шага. В деревню входили фаланги полка.

Офицеры подтянулись, полковник Кривдин гремел.

Без вызова где-то в третьей роте тонкий голос затянул: «Чубарики, чубчики, чубчики».

Полковые кухни стояли на церковной площади. Около них возились повара. Над огромным корытом рабочие чистили горы грязной картошки. От кухонь в небо вился штопором дым.

Тут же на площади, на общественных дубках ждали обеда солдаты. Гармонист выводил «Барыню». Кто-то колотил ложкой по солдатскому бачку. Сменяя друг друга, солдаты авангарда пускались в пляс.

Три батальона ставропольцев сменили 75-й Севастопольский полк, ушедший на отдых. Четвер-

тый батальон нашего полка находился в резерве в деревне Синуха.

Пятая рота, в которую я была послана для связи, подковой огибала замок графа Богуша. Изрешетенный пулями белый дом с колоннами бдительно охранялся дряхлым лакеем графа.

Мое назойливое желание взглянуть на покои Богуша, о которых так много говорили, было удовлетворено.

Сумерки. Я брожу по бесконечным антресолям замка. Вот в этой комнате до прихода наших войск был австрийский штаб. В огромном зале посредине стоит стол, на нем обрывки бумаг, стружки карандашей, обломанные куски сургуча. Пропитанная пылью зеленая скатерть закапана стеарином, вылитые чернила размазаны «чортиками». В обоих концах стола узкие высокие кресла с резными спинками. Стулья по бокам стола отодвинуты в беспорядке. Колонны зала увиты гирляндами давно увядших цветов. У овального окна, к выходу в голубую гостиную — рояль. Приоткрытая крышка рояля. Из-под обломков штукатурки еле видны его струны.

Под черным кивером — красивая головка женщины на обложке валяющихся на полу нот. Я открыла ноты, с трудом разобрала несколько строчек:

З найпенкнейших варшавянок
Сформуемы полк уланок...
Раз, два, тши, раз, два, тши...

Быстро подобрала мотив, жестикулируя и напевая, иду. Здорово получается — раз, два, тши.

Нежно-розовые, из тонкого шелка обои будуара графской внучки. Под моими ногами захрустели осколки зеркального шкафа и разбитого стекла. Туалетный столик и на нем опрокинутые бутылочки духов. Банты розовых лент в пожелтевших пятнах. Пуховка и открытая коробка пудры валяются на полу. Тонкий тюль-паутинка, прикрывавший столик, засыпан белой пылью. Оборванный шелк оконных занавесей спадает клочьями. В углу камин, наполненный грудой обуглившихся конвертов.

Чуть приоткрытый полог кровати, и там . . . Там сидела кукла в розовом капоре, в пальто из розового плюша, в ее черные локоны воткнут миниатюрный бутон розы. Надменны пухлые губы куклы и черные глаза-агаты. «Будешь со мной, я тебя возьму», — и все-таки не решаясь ее взять, я подбадриваю себя вдруг пришедшим в голову: раз, два, тши — хватаю куклу и выбегаю из будуара. Теперь поскорее бы выбраться из замка. Потом посмотрю остальное.

Скорее отсюда. Уже вечереет.

Я прошла зал, очутилась в длинном коридоре. Теперь направо. Нет, не сюда, вот здесь. Толкнула дверь — небольшой коридорчик. Теперь налево. Правильно. У выхода на веранду мне преграждают путь сдвинутые деревянные ящики, наполненные

бутылками. Нет, я здесь не шла, надо повернуть обратно. Где же выход? Темнеет, и я позже ничего не найду и не разберу в этих бесконечных коридорах. Дверь к выходу в парк была именно здесь, неужели я ошиблась? Я все перепутала. Брожу в полутьме. Пустяки! Нечего бояться. Но... в замке тихо и страшно. Пройдя еще немного, я чувствую усталость. Как будто бы я прошла несколько километров. Откуда винтовая лестница? Это наверное вход в мезонин. Я решила посидеть, отдохнуть, успокоиться и припомнить выход. Ведь я могла из розовой комнаты выйти через окно на веранду. Зачем я пошла сюда? В темноте шарю по стенке.

Скрипнула где-то дверь. По ступенькам лестницы послышались шаги шлепающих туфель. Прижимаю куклу. Скрипя открылась маленькая дверца. Горящие свечи канделябра освещали старика в черном фраке.

— Матка бозка, Езус Христус, забавка паненки Яни в ренках жолнежа!

Затряслись руки старика, погасли свечи выпавшего из рук канделябра. Шлепающие туфли зашаркали в мою сторону. Звон фарфора... Кукла разбилась.

Как шальная я бросилась бежать к освещенному луной выходу в зал. Ноги старика шаркали вслед. В зале у окна я остановилась, перевела дыхание.

Монументом стоял лакей в огромном зале. Ба-

кенбарды графского цербера серебрились при лунном свете.

Выпрыгнув из окна и очутившись на веранде, я обрадовалась. Да. Я обрадовалась грохоту разорвавшегося снаряда. Ведь тут, сейчас, через несколько минут я увижу людей, я буду среди живых людей! Услышу их голоса!

Я положила горячие ладони на белый мрамор, вытянулась и перепрыгнула через перила в парк.

В полку распространились слухи о какой-то минной галлерее, таинственно шептали о подземном ходе, имеющемся под замком и ведущим якобы в тыл к австрийцам.

Несколько офицеров с тремя разведчиками осмотрели замок, обшарили весь чердак. Во время поисков каких-то приспособлений для сигнализации, якобы хранимых старым лакеем на чердаке, офицеры натолкнулись на боченок с наливкой. Перепившись, они высунулись в оконце и обильно покрыли жесть крыши рвотными изрыганиями.

Замок находился под бдительным наблюдением противника, который очевидно надеялся обнаружить в нем либо пулеметные гнезда, либо артиллерийский наблюдательный пункт. Дебош офицеров не ускользнул от зорких глаз австрийцев. Батарейная очередь гранатами, пущенная в расположение замка, отрезвила офицеров, кубарем скатившихся с чердака.

Вернувшись в окопы, офицеры, захлебываясь, перебивая друг друга, рассказывали командиру батальона о будто бы запрятанной лакеем белой фате под крышей дома и найденной ими. Подозревали, что графский слуга сигнализировал ею днем, а ночью ракетами... Офицеры рассказывали, как они с риском для жизни извлекали фату — явную улику против лакея-шпиона.

Подполковник Бальме, ударяя себя ладонью по колену, возмущался:

— Кан-н-алья, пся крев, кан-н-алья!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Из расспросов пленного выяснилось: противник готовится к наступлению, на участке дивизии сосредоточено большое количество артиллерии, в резерве ландверные части.

Из штаба передано приказание предупредить противника атакой дивизии.

Восемь разведчиков, во главе с поручиком Замбором, удивившим всех своим желанием принять участие в разведке, змеей ползут к проволочным заграждениям противника.

Темная беззвездная ночь. На расстоянии пяти-шести шагов не видно впереди ползущего человека.

— Разбойная ночка! С полным благополучием подрежем проволоку. Ножницы выдали новые, острые, — говорит Сашка, отдаляясь от меня к другой группе разведчиков.

Я очутилась возле Замбора и унтер-офицера Шикова.

Редкие ружейные выстрелы. Просвистела пуля, одна, другая, еще и еще. Я припала щекой к земле — сырая, холодная, она, как льдина, коснулась моего лица. Тра-та-та-та . . . и замолк пулемет. Тихо, словно вымерло все живое. А ведь тут недалеко в окопах столько человеческих жизней, и у всех разных и у всех по-разному одинаковых. Молчат австрийцы.

Ко мне приближаетя Замбор, это он, слышно, как шуршит его кожаная куртка. Поручик взял меня за руку:

— Зиночка, выслушайте меня. Я для вас пошел в разведку, прошу вас, выслушайте, я приготовил вам подарок. Решил сам доложить командиру полка, будто вы подрезали проволоку, не испугавшись пулеметного огня. Вас представят к Георгию.

Замбор подвинулся ко мне вплотную:

— Я прошу вас, Зинок, поцелуйте меня!

Поручик сжимает мои пальцы, я слышу, как кашлянул Шиков. Замбор положил руку на мое бедро — гладил. Я резко отстранилась.

— Не хочу я никакой награды, оставьте меня,— говорю тихо.

Снова шопот Замбора:

— Зиночка, Зина, я все сделаю для вас, хотите, я подарю вам своего Маркиза.

Маркиз — прекрасная английской крови ло-

шадь. Ни у кого в дивизии нет такой лошади, как замборовский Маркиз. Неужели красавец Маркиз может быть моим?.. Я мечтала иметь хоть какую-нибудь лошадь, и вдруг у меня будет Маркиз! Но... за Маркиза требуют поцелуй... Я на секунду представила себя скачущей на этой красивой лошади... Маркиз легко и смело берет препятствия. Я участвую на скачках, на круге моя лошадь приходит первой, мне аплодируют с трибуны, оркестр играет туш...

Замбор схватил мою голову, целует лицо. Моя мечта быстро рассеивается, я вырываюсь из рук поручика. Замбор обдает мое лицо своим дыханием, я слышу его слова:

— Ты не уйдешь, ты не уйдешь!

Поручик упирается своей головой в мою грудь, руками вцепился в мои ноги. Острыми ногтями я впиваюсь ему в шею. Напряглась всем существом, силясь вырваться.

— Пусти меня, Зина, пусти. Все равно теперь уж поздно — кричать не сможешь, близко противник.

— По-моги-т-е!.. — воплем вырвалось у меня.

Пропотевшая ладонь закрывает мне рот:

— Молчи, девчонка, противник откроет огонь, из-за тебя другим погибать, что ли?

Снова целует, шепчет что-то неясное. Я в последнем усилии закрутилась вьюном. Кричать или не кричать? Кричать или молчать? — быстро про-

носятся мысли в голове. Молчи, молчи, не смеешь кричать, ведь из-за тебя могут... Снова послышался совсем близко кашель Шикова.

— Ши-ков, по-моги, Шиков!

Я просила о помощи, но мой голос с хрипом вырывался под ладонью поручика.

Замбор вдруг, чуть освободив меня, зашептал:

— Шиков, сюда, сюда, Шиков.

Секунда, и унтер-офицер возле нас.

— Держи ее за руки, держи, Шиков! По уговору и твое не пропадет!

Где-то на правом фланге открылся частый ружейный огонь.

— Ваш благородь, ваш благородь, поспешайте! — говорит унтер-офицер.

Снова безмолвная ночь... и сквозь ее темень — то зеленые, то красные огоньки безумных глаз поручика надвигались все ближе и ближе...

А потом... Замбор отстранился, и на меня дохнуло запахом спирта с примесью аниса и махорки. Это было дыхание Шикова. И вдруг резким толчком чья-то сильная рука отдернула от меня унтер-офицера. Я услышала шопот поручика:

— Не по тебе, песья кровь, такое лакомство!

— Ваш благородь, ваш благородь, не по праву поступаешь, ваш благородь — обещание не держишь, коли так, то я молчать не бу...

Какой-то глухой, тяжелый удар возле меня и мгновенный страшный треск...

Взвилась недалеко германская ракета и, медленно падая, осветила кровавую массу разбитого наганом черепа унтер-офицера Шикова.

Рассвет. В убежище никого нет. Я одна.

Кажется я уже в сотый раз рассматриваю себя в осколок зеркала, и вот сейчас я смотрю и снова вижу под глазами те же синие круги и как-то странно изменившиеся глаза. Раньше они были живые и смеющиеся, а теперь какие-то потускневшие. Противные глаза! Ты должна была кричать, и ничего бы с тобой не произошло! — мысленно упрекаю себя и тут же думаю иначе: — Нет, ты, наверное, поступила правильно: там нельзя было кричать.

У меня тошнотворно-болезненное состояние. «Но ведь это же пройдет»,—утешаю себя и, вновь взяв зеркало — смотрюсь... и снова вижу свои глаза — они не те, они другие, словно чужие, не мои. «Не смотрите так, я хочу, чтоб вы были прежними. Гадко, противно все». — Я швырнула осколок зеркальца и вышла из землянки.

Хожу по окопам, и мне кажется, что все смотрят на меня и все знают событие проклятой ужасной ночи. Я слегка касаюсь ладонью своего лица, хочу закрыться от солдат, рука, теплая, влажная, дотрогивается до щеки... Мне моментально вспоминается страшный, обезображенный череп Шикова, по телу пробегает мороз, голова кружится, я опу-

скаюсь на землю и долго сижу возле какого-то солдата...

Безумствует неприятельская артиллерия. Адские вспышки разрывов перенеслись с левого фланга на участок второго батальона. Содрогаясь стонала земля под ударами чугунного бича. Черной вуалью окутало землю.

В землянке командира батальона обсыпался от сотрясения потолок. Гасла свеча. Чиркал спичкой Бальме, снова зажигал свечу.

— К ночи перейдем в атаку. Засыпал, сволочь, снарядами!

Джжах! — и, казалось, рушится потолок. Отдернув палатку, Бальме приложил к ушам пальцы и мотал ими быстро, словно они наполнились водой.

— Оглушило совершенно, уж не контузия ли? Зина, подожди минутку — пойдешь с донесением.

Гул и невыносимый грохот стоял кругом. Наконец граната сменилась шрапнелью, и ее жужжание было передышкой для всех.

К вечеру, охнув последним залпом, заснули австрийские батареи. Батальонный связной снова вызвал меня к Бальме. В землянке суетились офицеры.

— На, отнеси в штаб полка, конверт не запечатан — принесешь обратно.

Итти, выполнить данное мне поручение ночью,

выйти из хода сообщения, пройти через парк Богуша к цементированному погребу, в котором находился штаб полка, — казалось для меня большим геройством.

Шумели сосны. Обламываясь трещали сухие ветки, падая ударяли о землю шишки. Разрывные пули, попадая в стволы деревьев, зловещими светляками мелькали по парку. В «аллее берез» мягкий ковер из опавших листьев зашуршал у меня под ногами, будя уснувший парк.

Любопытно, что пишет в донесении Бальме. Наверное что-нибудь важное. Приказано спешно доставить. А что если взять и прочитать? Обычно все конверты были запечатаны, а этот открыт. Возьму и прочту и в роте расскажу новости... Я стала на колени под деревом, сняла фуражку и, прикрывая ею зажженную спичку, — прочла:

Сирена гудит. Собаки воют. Лакей шпионит. Пятая рота готовится к наступлению.

Бальме

Какая сирена? Лакей шпионит? Собаки воют? Будет наступление? Ничего не понимаю. Еще раз зажгла спичку и прочла. Да. Так написано, все равно, надо спешить и доставить донесение.

— Честь имею явиться.

Полковник Зелинский недавно прибыл из глубокого тыла и временно замещал Плахова. До его слуха докатились в тыл насмешки кадровых офицеров полка над его трусостью и нежеланием быть

на передовых позициях. Зелинский прочел донесение и рассмеялся.

— Прочтите, Георгий Федорович, чудит Бальме — ему бы в отпуск не мешало съездить, отдохнуть, — сказал Зелинский, передавая конверт полковому адъютанту, всеобщему любимцу полка.

Зелинский повернулся ко мне:

— В конную команду разведчиков хочешь?

— Конечно, хочу, — ответила я.

Я зажглась радостью, выбежала от командира полка и помчалась в роту.

«Конверт аллюр два креста» тащу обратно командиру батальона. Его нет — вручаю конверт капитану Крапивянскому. На лежанке, покрытой соломенным матом, уставившись на свет мигающего огарка — Крапивянский. Согнутая серая папаха сдвинута на затылок. Шинель до пояса в засохшей коростой грязи. Повернул в мою сторону боевыми ветрами опаленное лицо. Зоркие глаза быстро пробежали по конверту:

— Можешь итти.

Двенадцать пеших разведчиков, в числе которых была и я, откомандированы в конную команду. Разведчики стояли в фольварке Угра, в пяти километрах от замка.

Гнедая, небольшого роста, с белой проточиной на лбу, с густой гривой, заплетенной в четыре косички, стояла моя лошадь Гном. Рядом с ней кобы-

лица Сашки Черемуха. Жеребец Запорожца Пантелейко бил копытом хлюпающую под ним подстилку. Черешенко, окончив чистить свою Белку, пряча скребницу в кобуры седла, подошел к Запорожцу и, покручивая свои усы, обратился к своему другу:

— Запорожец, ты, дурний, смени подстилку, мокрецы пороблються у Пантелейки, хиба не знаешь?

Черешенко почесал затылок и, выставляя свои редкие зубы, засмеялся:

— Ну, що его делать, цеж прямо курям на смех дали мне такую коняку. Куда ж она мне, така маленька? Сяду на неи, а ноги по земле волочатся.

Послышался задорный смех Сашки, он вошел в конюшню и, подойдя к Белке, похлопал ее по крупу.

— Для тебя, Черешенко, разве подобрать коня? Тебе не иначе, так сказать, как только на верблюдах ездить, у тебя стан что верстовой столб. Где тебе коня отыскать? Идем, ребята, поднажмем экономочку, у нее сало есть.

Все ушли. Я осталась возле Гнома.

— Гном, хороший мой, Гном!

Лошадь повернула голову в мою сторону и заржала. На ее ржание ответил Пантелейко. Я расплела косички лошади, растрепала гриву. Прижалась к ее морде. Она дохнула на меня из своих ноздрей, коснулась бархатом морды моего лица,

заслюнила мне шею. Я обошла кругом Гнома, осматривая его со всех сторон. Узором хотела завязать ему хвост и получила хлесткий удар по глазу. Глаз едко заболел, и я вышла из конюшни, улеглась спать на куче соломы, свернувшись ежиком.

Уже несколько дней идут бои. Большие потери понесены 73 Крымским и 76 Кубанским полками. В нашем полку сильно пострадал второй батальон. Солдаты рассказывали, что временный командир полка Зелинский во время сильного обстрела, когда наступающие части залегли, выпрямившись во весь рост, отдал команду «вперед» и с криком ура бросился на австрийцев.

— Подходящий до боя оказался полячок, гонористый, не поддается смешкам, — говорили солдаты.

Подходили повозки, переполненные ранеными. Я вспомнила о наливке, имеющейся у меня в фляжке, которую дал мне Сашка, подошла к раненым и спросила, не хочет ли кто-нибудь выпить. Солдаты протянули руки за фляжкой и быстро ее опорожнили.

— Зинка, — говорит белобрысый ефрейтор третьей роты, — Давид Маркович приказал долго жить. Убили. Скажи ребятам.

Убит Давид Маркович. Неделю тому назад я видела его в землянке разведчиков, он оживленно беседовал с солдатами. Мне мгновенно становится

страшно. Ведь приходилось много видеть убитых, искалеченных людей, часто, бывало, слышишь: «Егорову оторвало руку, Петрову снесло осколком гранаты голову, четверых засыпало землей, придавило насмерть», и, как это ни странно, но эти жестокие слова стали для меня привычными. К ним не прислушивалась ни я, ни другие. И почему-то сейчас, когда услышала о смерти Давида Марковича, мне стало очень страшно. Недавно с ним говорила, я так ясно вижу его лицо... Эта смерть словно коснулась меня самое. Мне захотелось кричать во весь голос: не надо, не надо, не надо!..

— Заснула на ходу, что ли? Сплячая ты такая.

— Гусев, Давид Маркович убит.

Сашка уставился в одну точку и долго так простоял. Потом вышел к разведчикам.

— Убит, значит, убит. Так... так...

Сашка вздохнул тяжело, тряхнул кучерями. Черешенко задымил папиросой:

— Ото ж воно всегда так на свете бывает. Хорошего человека убивство или хвороба какая забирает, а вот такая подлюга, ну, для примера, как той Кривдин — хреном в жисть врастае.

— Шкода Давидку, шкода, нема що говорить — хорош был человек, — сказал Запорожец.

Команда подпоручика Никольского, начальника разведчиков — «По коням!» — быстро заставила вскочить на лошадей.

Протяжное «шагом м-а-а-рш» — и двинулись разведчики.

— Опередим наш авангард и на разведку айда — интерес! Это тебе не брюхом ползти, а, так сказать, ж... трясти. Терехина бы повидать, да разве в темноте сыщешь! Привычка — она заковычка, скучно стало за человеком. Трофим мужик хороший, — говорит Сашка.

— «Лети же, верный мой товарищ»... — раздается тенор Никольского.

Подпоручику нравилось петь соло и, бывало, если за его началом подхватят песню всадники, он сердился и, говоря: «нет, я сам, только сам, не мешайте мне», — продолжал заливаться, наслаждаясь своим голосом.

За круглую фигуру, яркий румянец на щеках-яблочках и вздернутый нос весельчак Никольский получил прозвище от солдат «Акулька».

Километра три мы прошли шагом, потом Акулька повернул разведчиков к темнеющему парку Богуша. Вскоре нам повстречался поручик Замбор на своем красавце-Маркизе, и с ним три ординарца. Они громко пели, голоса их были пьяны.

Все четверо галопом умчались к оставшемуся позади нас фольварку Угра.

Звеня стременами, мы въехали на главную аллею парка. Деревья чернели гнездами птиц и оттуда, каркая, вылетали вороны.

Команда Никольского:

— Повод вправо!

Лошади шарахнулись в сторону.

Там, под старым дубом — темная качалась фигура с упавшей головой. И в дикой пляске кружились по ней тени листьев при блеске луны...

Вековой дуб, шурша осенними листьями, мерно раскачивал старого лакея. Ветер трепал его седину.

Повод выпал из моих рук, я зарылась лицом в гриву лошади.

Резким скачком Гном устремился вперед.

— Висит шпион и нехай висит, — сказал кто-то.

Заря румянцем легла на деревню. Тихо и пусто. Только там, вдали, на дороге, купалась в пыли курица, да где-то скрипел колодезь-журавель.

— Если которая случайность выйдет, держися крепче в седле, Зинка, и ходу за мной.

— Да нас ведь, Гусев, целое отделение, чего бояться, и мы на конях.

— То чепуха, что на конях, у австрийцев кони из Венгры, быстрый ход имеют.

Словно птица крыльями, взмахивая руками выбежала на дорогу крестьянка. Сашка подскочил к бабе:

— Чего хочешь, говори?

— Майте жалость, дочку мою поранило. Кровью истекает в хате. Ой, боже ж мой, поратуйте, москалики!

Гусев оторвал от шашки свой индивидуальный пакетик и бросил его мне:

— На, в два счета перевяжи девчонку, да гляди, быстрее. Как что неладно, которая внезапность выйдет — свистеть буду.

На полу в хате, на окровавленной соломе лежала малютка. Алый фонтан бил из ее худенькой руки. Лицо прозрачное — ни кровинки. Поблекли глаза-васильки.

— Ма-м... ма-ма... — лепечут пухлые губки.

Тоненькие русые косички словно полевой гвоздичкой утыканы — каплями крови забрызганы.

— Звидкеля ты взялся, такой маленький хлопчик? Дитятко, тай теж в москалях, — говорит женщина, осматривая меня.

Я туго перевязала руку девочки, повыше раны, как учил Наумыч, и кровь приостановилась.

Пронзительный свист с улицы молотком ударил в голову. «Австрийцы! Попаду в плен!» — мелькнуло в голове, и я выбежала на улицу, не окончив бинтовать руку девочки.

На дороге, спокойно покуривая, собравшись в кучку — все отделение разведчиков. Увидя меня, солдаты, упираясь о колени, приседали от смеха.

— О, ребята, она, как заяц, напужалась, ого-го-го!

— Як той сниг белая, перелякалася! — посыпались смешки.

Мне ничуть не было стыдно, и я, ничего не сказав, повернулась и ушла в хату.

Там, закончив перевязывать девочку, я попросила подушку и, подложив ее под голову раненой, хотела итти. Глаза девочки уставились на меня, ее ротик раскрылся. Тихо хмыкая, она смеялась.

— Ой, голубонька моя, Ксанка, Ксана, погляди, який москалик, з него, мабудь, смеешься? Полегчало тоби, серденько мое?

Девочка повернула голову, потянулась к матери.

На расшитый в мелкие крестики передник Ксанки падали крупные бабьи слезы.

Около церковной ограды наши конные во главе с начальником. Акулька, увидев меня, замахал руками и подозвал к себе:

— Гусев, Запорожец и Зинаида, сюда!

Каждому из нас дано поручение. Мне нужно было доставить в штаб полка донесение подпоручика. По сведениям, полученным у пленного, противник окапывается в трех верстах за деревней Симки.

Спрятав конверт под фуражку, я натянула ее покрепче и опустила клеенчатый ремешок к подбородку. Козырнув начальнику, я дала хорошие шпоры коню и поскакала через деревню. Вдогонку я услышала выкрики Акульки: «короче, короче!» — и, поняв, что это относится ко мне, перевела Гнома на рысь.

За деревней начинался лес-молодняк, да вправо от дороги небольшая березовая роща. Эту дорогу мы проезжали на рассвете, и она хорошо мне запомнилась. Свернув на узкую лесную тропинку, чтобы быстрее попасть на хутор, где по предположению Акульки должен был находиться штаб полка, я замедлила ход. Лошадь пригнула голову к груди и, получив удар сучком по морде, подкинула задом так, что я еле удержалась в седле. Противник посылал пачки шрапнелей по лесу и на додогу, ведущую к хутору. Разрывы начали учащаться. Находиться одной под обстрелом как-то особенно жутко. Опасность от снарядов кажется удесятеренной, кажется, что все это сосредоточивается только на тебе одной, и ты одна обречена на гибель. Страх за «собственную персону» парализует весь организм. И совершенно иначе чувствуешь себя, когда ты находишься под обстрелом среди людей. Только здесь, на войне, я поняла, насколько сильно у человека чувство эгоизма. Отчетливо помню, как тогда на позиции под Колпиным кто-то сказал: «Слава те, господи, перенесся огонь на 12 дивизию» — и потом еще: «Крымцы пойдут ударной группой, а мы после». И видела я, когда убило солдата возле Климыча, на лице последнего, кроме страха, промелькнуло выражение некоторого довольства, лицо как будто говорило: «А ведь не в меня попало». И когда неприятельский обстрел перенесся на левый участок, опять кто-то из окру-

жающих сказал: «Слава те, перестал по нас крыть, по кубанцам палит». А ведь люди только-что сами подвергались той смертельной опасности, которая теперь угрожала их соседям. Люди как бы почувствовали успокоение, когда огонь перенесся на других. Может быть потом человек стыдился за себя, может самому было неловко, когда проходила опасность — никто об этом не сказал...

Совсем близко хлопнула шрапнель. Лошадь моя как-то вся присела и вдруг, сделав прыжок, вытянула шею и понеслась как угорелая. Ветки стегали по моему лицу, и их неожиданная хлесткость вызывала отчаянную боль и досаду. Сильно одернув лошадь, я пошла шагом. Снова близилось шипение снаряда. Разрыв был в пятидесяти шагах от меня— не больше. Дребезжа пролетел мимо осколок. Снова разрыв и невиданное мною до сих пор голубоватое облако.

Это наверное бризантный снаряд, я слыхала о них. Как проехать лес? Как его скорее миновать? И выйти из-под обстрела? Тут я наверное погибну, мне не выбраться отсюда живой, противник усиливает артиллерийский огонь! Жжжах! — новый разрыв двойного действия. Я пришпорила коня, теперь взрыв снаряда раздался в роще и затем треск расколотого дерева. Мне необходимо двигаться вперед, батареи бьют все сильней и чаще. Гном вдруг настораживается и тревожно водит ушами. Я передергиваю удила:

— Гном, свинья ты такая, не пугай меня, и так страшно.

Проехав немного, я увидела дымок над кустами орешника.

— Гном, перестань водить ушами. Вот еще немного, и мы встретим наши наступающие цепи, а там хутор и штаб полка.

Дымится в кустах. Ну что ж! — курит кто-нибудь. А может объехать кусты? Нет, довольно трусить! И, вынув револьвер из кобура, я подскакиваю к кустам. Листья орешника раздвинулись и оттуда, медленно, высовываясь, показалась немецкая каска и выскочил молоденький немец. Казалось, мое сердце перестало биться.

— Guten Tag[1]! — говорит немец.

Мне сразу вспомнилось, как когда-то дома, возвращаясь поздно от подруги, я шла Адмиралтейской слободой и, свернув в переулок, встретила пьяного. И, несмотря на сильный испуг, я храбро подошла к нему и, стараясь быть с ним как можно вежливее, спросила: «Скажите, пожалуйста, как пройти к пристани?» Пьяный был ошарашен и польщен спокойной вежливой фразой и, удивившись, что его, как маятник раскачивающегося, посчитали за трезвого, очень деликатно ответил мне: «Пожалуйте, мамзель, сюдою, а потом повертывайте налево. Извиняюсь». И сейчас, как

---

[1] Здравствуйте.

тогда, обращаясь к немцу по-французски, надеясь, что он меня поймет, я сказала:

— Camarade, voulez-vous être prisonnier de guerre[1]?

Молоденький улыбающийся немец поднял вверх руки и ответил:

— Ja, ja [2]!

Я прячу револьвер в кобур, беру у пленного карабин. Немец оглядывает меня и, отстегивая фляжку, протягивает ее мне. Я открываю пробку, нюхаю и переливаю ром в свою баклажку.

— Je vous en suis reconaissant [3],—говорю я пленному и возвращаю фляжку.

Моя вежливость кажется странной немцу и он, улыбаясь, спрашивает по-немецки, не кадет ли я. Я его поняла, а объяснить по-немецки не могу и, замахав отрицательно головой, я рассмеялась. Пленный смотрит на меня пристально, и взгляд его падает на мои руки. Он подскакивает ко мне и затем, кружась на месте, восторженным голосом кричит:

— Mädchen! Mädchen [4]!

Мне становится уже совсем весело, и смех мой звонким эхом отдается в лесу.

---

[1] Товарищ, вы хотите сдаться?
[2] Да, да!
[3] Благодарю вас.
[4] Девушка! Девушка!

Пропустив пленного вперед на тропинку, я двинулась дальше. Приходилось все время сдерживать лошадь, немец поминутно оглядывался на меня и задерживал ход.

В небольшом дворе, на срубах сидел командир полка и адъютант. Заметив мое приближение, оба встали и направились ко мне. Гном, видя стоящих у тына лошадей, заржал и ходуном крутился, дергаясь на поводу. Полковые ординарцы приблизились к пленному. Я вытащила конверт изпод фуражки и вручила его адъютанту. Взглянув на конверт, адъютант посмотрел на часы и сказал мне шутливо:

— Донесение срочное. Доставлено с опозданием.

— Я немца взяла в плен, и вот его карабин. Из-за немца пришлось задержаться. Виновата.

— Кто кого из вас взял — дело темное, а донесение ты, Зина, привезла важное и доставила его под огнем. Здорово кроет по лесу! Ты молодчина! Иди отдыхай.

Командир полка и все окружающие рассмеялись. Пленного подозвал к себе адъютант и расспрашивал его, задавая обычные вопросы: какого полка, сколько и какие части в резерве. Пленный ничего не отвечал и все время смотрел на меня. Я повернулась «налево кругом» и пошла к лошади. Отпустила подпруги, сделала проводку. Из кобура седла достала пирог с горохом, который мне дала

мать Ксанки, и принялась его уминать. Гном рядом похрустывая жевал сено.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В хате дымила печка. Дым выедал глаза. Я ушла в сарай, расположилась там на ночлег. Укрылась шинелью, мне было холодно, крыша сарая только наполовину была покрыта соломой.

Я недолго пробыла в одиночестве. В сарай вошел Сашка, сел возле меня. Мы с ним долго разговаривали и не заметили, как надвинулась ночь.

— Зинушка, приголубь меня, всю жизнь доброту твою помнить буду. Зорюшка ты моя, уж так ты мне нравишься, все приглядывался к тебе.

Сашкино лицо приблизилось к моему, от него пахло пряным земляничным мылом.

— Зинушка, Зина, дай мне свой поцелуй, не побрезгай мною, для тебя, так сказать, первый сорт мылом моюся.

Какая-то задушевная искренность слышится в словах Сашки. Я рукой нащупала его кучеры, фуражка упала у него с головы.

— Шелковая у тебя ручка, Зина, погладь малость мои кудри.

Я гладила его волосы, и хорошо мне было, и ночь была темная — ни звездочки! Поцеловала Сашку в его синие глаза, они так мне нравились...

— Пододвинься ко мне, Зина, лежи в спокойствии, не утруждай себя. Эх, Зиночка, запала ты мне в душу! Что сделалось — не знаю, изожгла ты меня.

Отодвинулась от Сашки, ласка его туманила мою голову и дрожью билось тело.

— Мне от тебя, Зина, ничего не надо. Попросту буду говорить, тут при фронте шмар имеется, так сказать, сколько хочешь. А мне душа твоя нужна. И интерес у меня к тебе есть большой, часом так думаю, по всему видать — девка ты не нашего звания, а обхождение у тебя такое, ну, словами не сказать — сильно приятное и обходительное.

Сашка сидел возле меня, рассказывал мне о своей семье, много про Питер говорил. Я охотно его слушала. У меня явилось желание схватить Сашку, обнять крепко и прижать к себе. Я потянулась к нему губами и рукой пробиралась под рукав его гимнастерки. Его теплое тело коснулось моей ладони.

— Саш...

— Ты чего, Зина, чего хочешь-то? Тебе чего надо?

— Да ничего, я так.

— Ну, а коли так, то лучше не тронь. Зря, так сказать, трогать не следует.

— Ты ж сам просил поцеловать тебя.

— Ну да, просил, но я хочу объяснение тебе

дать, ты передо мной откройся вся, душой своей откройся, а тогда, если хочешь, то и породниться можем.

— Хорошо, Сашка, я тебе все расскажу, где выросла и кто мои родные, все, все.

Я приподнялась с сашкиных колен и села на прежнее место.

— Ну, слушай, я начинаю: в некотором царстве, в некотором государстве жила-была Зина Крамск . . .

— Да ты не дури, без шалости. Говори толком.

— Ну, ладно, слушай. В некотором царстве, в некотором госу . . .

— Эй, кто там — выходи! Возьми коня да сделай проводку, не забудь подпруги отпустить. Ну, выходи живей!

Я слышу голос Замбора. Прижимаюсь к Сашке. Поручика я ненавидела всем существом. Меня всю передергивало от одного вида его приторно-галантной фигуры.

— Ты чего дрожишь вся, Зиночка, чего ты? И откуда его нелегкая занесла? Эх, сукин сын!

Сильный свет электрического фонаря, словно солнечный зайчик, забегал по стенкам сарая и, остановившись на куче сена, осветил меня и Гусева.

— Заваландался! Поворачивайся быстрее!

Замбор слегка дотронулся стэком до сашкиного плеча.

Сашка ушел, я иду к дверям сарая. Поручик преграждает мне путь:

— Давно не виделись. Добрый вечер, Зина.

— Я для вас не Зина, а нижний чин. Разрешите пройти, ваше благородие.

— Ха-ха-ха! Ну, конечно, нижний чин — подумаешь! Да иди сюда, не упирайся. Пьян я сегодня и хочу, чтоб ты была со мной.

— Не трогайте меня, не смеете, я буду жаловаться!

— Жаловаться, жаловаться, не боюсь я никого. А ну, иди сюда! Потом будешь жаловаться.

Поручик обвил меня руками. Сколько было у меня сил, я ударила Замбора под подбородок.

— Бей еще, бей меня! — поручик запрокинул мою голову и впился губами в мое лицо.

— Ваш благородь, прикажете расседлать Маркиза или дальше поедете? — голос Сашки.

Поручик отпустил меня, шепнув на ухо:

— Ты сегодня от меня не ускользнешь, все равно разыщу тебя!

Повернулся и вышел из сарая.

— Так вот, Зина, дела-то какие. С офицером, так сказать, крутишь. Ну, что ж, извиняй — помешал тебе. Не меня ты в сарае-то поджидала, понятно оно, конечно, офицер-то чище меня и по запаху приятней, да еще такой, как Замбор.

— Гусев, неправду говоришь, я ненавижу поручика! Саш, останься, я все тебе расскажу.

— Да брось дурачить меня, не на того нарвалась! Пусти, не вяжись! Я не то об тебе думал, ан выходит дело-то какое. Занятие с поручиком имеешь. Оставайся тут, придет он к тебе. Да отвяжись, не приставай!

Сашкина несправедливость, наглость поручика доводили меня до отчаяния и страшной злости.

Я выбежала из сарая, пришла в конюшню, оседлала Гнома и понеслась в поле, по дороге в деревню Коропец, где стояла наша шестая батарея.

На утро командир батареи Башкиров пригласил меня поехать с ним на наблюдательный пункт.

В лесу, забравшись по высокой лестнице на сосну, на которой был устроен наблюдательный пункт, Башкиров спросил меня, не хочу ли я подать команду на батарею?

— Вы будете сами командовать, Зиночка, хотите? Смотрите вот сюда.

Я взглянула в перископ. На опушке леса, вблизи фольварка Зеленки, недалеко от австрийской позиции, копошились человеческие фигурки.

— А ну, Зиночка, командуйте! — и, протягивая мне телефонную трубку, Башкиров быстро просуфлировал: — Ну, говорите скорее: по цели № ... прицел ... трубка ... огонь!

Я повторила команду, передав ее на батарею. Послышался разрыв. Было видно, как над лесом разорвалась шрапнель.

— Недолет! Досадно! Пустим гранатой, кройте еще! — подзадоривал меня Башкиров.

Я снова подала команду. Снаряд не разорвался.

— Кройте еще! — говорит командир батареи, и его слова действуют на меня как-то подхлестывающе. Я вся горю желанием попасть в цель. Изменив дистанцию, командую опять. Башкиров наклонился над перископом.

— Есть! Готово! Смотрите! молодец! Оставайтесь, Зиночка, у нас на службе, что там — пехота! Стоит ли сидеть в окопах? — уговаривал меня командир батареи.

Я посмотрела в перископ. Очень ясно было видно поднявшуюся у австрийцев суматоху. Они то выбегали из леса, то снова бросались туда в своих серо-синих куцых шинелях.

Батарея больше не стреляла.

Мы уехали с наблюдательного пункта и, прощаясь с артиллеристами, я отчетливо расслышала слова Башкирова, говорившего другому офицеру:

— Ей понравилось стрелять. Мы ее переманим к себе.

С какой-то удвоенной злобой и на себя и на всех окружающих, со страшным раскаянием в своем поступке на наблюдательном пункте — этой нелепой стрельбе по австрийцам — и с сознанием полного одиночества возвращалась я в полк.

Карьером гнала лошадь в поле, и в свежести первых заморозков на меня вдруг повеяло испариной человеческой крови. Меня всю обдало холодом ужаса, а лошадь шла полным карьером и от ее быстрого хода свистело у меня в ушах и вдогонку слышалось страшное, протяжное у-у-у-у-у-у-у-у-у... — словно это был вой сказочного великана.

Я тащила для лошади ведро с водой и встретила Гусева. Он прошел мимо — не заметил.

На отдыхе я старалась попасть с теми разведчиками, где был Сашка. Он не обращал внимания на меня, а он все больше и сильней мне нравился. В походе наши стремена звенели от близости друг к другу. Я в лазурные глаза его подолгу всматривалась, на его стройную фигуру, на плечи широкие любовалась. Сашка меня словно не замечал, как будто б я перестала для него существовать. Спрошу его что-нибудь — невпопад отвечает, а то и вовсе не ответит. Уедет с донесением, я жду его. Хоть он и не разговаривает со мной, а мне от одного его присутствия хорошо. И когда я с ним — мне ничего не страшно, никакого огня не боюсь. Прошлой ночью Сашка вернулся из штаба дивизии, поводил коня, поставил на конюшню, завалился спать. Ночью встал, засыпал корм коню, пришел в хату, сел на лавку и что-то долго писал. И так просидел до рассвета, а со

мной ни слова, хотя видел, что я не сплю. Подошла к нему и спросила:

— Чего молчишь?

Посмотрел и говорит мне:

— Чужая ты мне. С офицером крутишься, уйди! — и отвернулся.

Я не знала, как и чем задобрить его. Однажды пошла в конюшню, почистила его лошадь, песком натерла стремена. Его любимую косоворотку в синие горошки чисто вымыла и пришила к ней пуговицы. А он не обращает никакого внимания или подстроит злую шутку надо мной и возьмет да лишний раз выругается при мне. У меня быстро проходила злоба к нему, я желала только одного — услышать от Сашки ласковое слово и не быть в его глазах офицерской забавой. Последнее время, когда Замбор уехал в отпуск в свое имение, я наконец-то была освобождена от его преследований.

Напоив лошадь, я догнала Гусева и остановила его, теперь я решила не робеть перед ним и действовать иначе.

— Сашка, стой, стой, говорю тебе!

Остановился, скривил свои яркие губы и спросил:

— Тебе чего?

— Слушай, Сашка, ты мне сказал, что тебе моя душа нужна, так какого ж ты чорта увиливаешь да не хочешь меня выслушать? Разве так хорошо? Кого из себя разыгрываешь, а если б я даже была

замборовской любовницей — тебе-то что за дело? Если любишь, так уж значит люби по-настоящему, а ты сам-то разве не вяжешься за бабами? Так вот, понимаешь...

К колодцу подошли Черешенко и Запорожец, Сашка отвязал коня и ушел с разведчиками. Я опять осталась одна и почувствовала какое-то отчуждение к Сашке. Его нежелание разговаривать со мной возмутило меня теперь больше, чем когда бы то ни было. И, если б он сейчас вернулся и подошел бы ко мне с лаской — прежнее мое чувство к нему уже было бы неповторимо, хотя и нравился он мне очень сильно.

Впервые вижу близко вернувшегося из отпуска командира полка Плахова. Крепкий, здоровый, как дуб, мощной своей пятерней Плахов держит толстую дубину с железным наконечником. Левая рука, растопырив пальцы, чешет седой ерш на голове. Чихнул — забрызгал свою козлиную бородку. Огромный, весь в изъянах оспы, нос свой вытер белым платком. Крысиные глазки Плахова кого-то искали. Завидев денщика, командир полка заулыбался, опустив книзу углы рта. Радовался протянутому денщиком пузырьку с иодом. Посох свой воткнул в землю, наклонился, подтянув еле прикрывающие икры сапоги. Пошел, опираясь на дубину, в халупу.

— Ой, братцы, и лакает он этот ёд. Для кре-

пости, говорит, организмов пью, — объяснял солдатам плаховский денщик.

Только поздно вечером вернулся Гусев из четвертой батареи, куда возил донесение. Нас трое разведчиков поместилось в маленькой халупке. Тут же рядом с нами находилась молодая крестьянка с тремя ребятами. Мы улеглись на полу. Тело не отдыхало на жестком подстиле. Нос забивала копоть крошечного ночника с неровным фитилем. Кислый запах, несшийся из колыски, которая раскачивалась над моей головой, затруднял дыхание. Запищал ребенок. Встала мать, наклонилась над колыской, широко зевнула, сунула свою сухую, с оттянутым соском, грудь ребенку. Писк прекратился. Баба постояла немного над ребенком и снова легла, всунув свою ногу в петлю колыски. Темная широкая ступня ее с оттопыренным выкрюченным большим пальцем качалась у меня над головой. Ребенок спал. Колыска раскачивалась все медленнее и медленнее и наконец остановилась. Темная ступня выпала из петли и тяжело ударилась о кровать.

Возле меня спали люди, открыв рты. Покоилась кучерявая голова Сашки на его подложенной ладони. Замокрели соломинки от слюны.

Я прислушалась к странному шороху. Посмотрела под стол, ничего не видать. Сунула голову под кровать — оттуда двигалась черная масса. К нашему настилу лезли огромные черные тара-

каны. Я отпрянула и села возле ног Запорожца. По его шее двигалась черная цепочка.

— Запорожец, проснись, тараканы наступают!

Я затормошила разведчика. Он проснулся, посмотрел на меня удивленно:

— Ты чего? Звидкеля наступают?

— Тараканы, Запорожец, тараканы тебя грызут!

— Катися ты, Зинка, со своими тараканами, ты чего не спишь?

— Боюсь.

— А ты спляй.

Запорожец покрутил свой ус, перевернулся на бок и захрапел.

Черные группки этих огромных насекомых облепили спящих. Я взяла шинель и вышла из халупы. Улеглась у порога.

Освещенные пурпуром заката двинулись всадники. За день ставропольцы отбросили австрийцев еще на несколько километров. Роты заняли австрийские линии у Синявинского леса. Мы ехали со штабом полка, приближаясь к деревне Гута-Пеняцка. За нами двигалась команда полицейских. Фельдфебель полицейской команды Дубело, рослый, плечистый, гордо выпячивал свою грудь, на которой красовалась медаль «за усердие». Старший унтер-офицер, бывший фельдфебель третьей роты, «рашпиль», шествовал с ним рядом. Физио-

номия Дубело — словно слепок с лица «рашпиля». Их оспенные лица с широкими носами сливались как бы в один блин. В передних рядах команды, словно нарочно подобранные, выделялись шесть солдат, физиономии которых тоже изрыты этой злосчастной болезнью. Солдаты прозвали команду полицейских «рашпильной».

После перехода моя лошадь захромала, и, поставив ее в конюшню ветеринарного околодка, я вернулась в окопы.

Трещали дрова, яркое пламя освещало наше жилище. Климыч помогал мне чистить селедку.

— Ну, скажи, Зинка, чего ты домой не идешь, всяко горе с нами мыкаешь? И в голову не придет — какая такая охота тебе. А ведь ты, Зин, не привычная до нашей тяжелой жизни.

Не один раз задавали мне солдаты такой вопрос, и никому толком я на него не могла ответить. Когда я уезжала из дома, мной руководила детская фантазия. Как мне помнится, в раннем детстве у меня была жажда к сильным приключениям, и однажды я собралась удрать в Америку с тремя своими подругами. Так и в мои пятнадцать лет — время моего отъезда на позиции — у меня было то же стремление, стремление к сменам впечатлений. Казармы, находящиеся по соседству с нашей квартирой, всегда привлекали мое внимание. Я часами смотрела, как занимаются солдаты, и осо-

бенно меня интересовала верховая езда кавалеристов Драгунского Каргопольского полка. Там в эскадроне у меня были знакомые солдаты. Я не раз была на полковой конюшне, угощала краденым у отца табаком солдат, и за это меня пускали смотреть лошадей. Отец и мать приходили в ужас, когда я садилась обедать за стол — от меня всегда несло навозом. А когда началась война — меня потянуло с полком на фронт. Когда я просматривала в журналах картинки, на которых были изображены сражения, моя фантазия сильно работала. Но... на картинках, оказалось, было так мало правды! Мне особенно врезалась в память одна: на ней был нарисован казак, несшийся на своем сером коне прямо на проволочные заграждения, были нарисованы седые генералы, идущие в атаку, и священники, шедшие в бой с крестом впереди полка. Так было на картинках, а жизнь на фронте нарисовала мне другие картины...

Я попрежнему оставалась в окопах, попрежнему была разведчиком, носила те же маленькие конвертики с аллюром один и два креста. Прошло немного времени со дня моего отъезда из дома, но стремление попасть на передовые позиции по детской фантазии сменилось теперь желанием остаться здесь, несмотря на опасность, и теперь это желание было иным. Месяцы на войне — это словно годы. Я сильно переменилась, и вся эта недавняя былая тяга на позицию в погоне за чем-то

необычайным исчезла, сменилась иным настроением.

Я здесь была одна. Одна среди сотен мужчин. Мне нравилось какое-то особенное, своеобразное преимущество над другими женщинами. В походе на меня смотрели сестры, в деревнях сбегались глазеть бабы и ребятишки. И однажды, поседлав прибывшего в команду трехлетнего жеребца, я вскочила в седло и понеслась по деревне. Понеслась на сером молодом необъезженном жеребце.

Серый особенное внимание уделял маленьким крестьянским лошадкам, и вот, когда я проехала небольшой мостик, мне повстречался крестьянин, едущий с поля. Серый прошел сначала спокойно, а потом вдруг резко повернул обратно. Я изо всей силы натянула мундштуки, но сдержать лошади не могла. Жеребец неистово заржал и заюлил на месте. Я крикнула галичанину:

— Погоняй!

Галичанин взмахнул батогом, и его лошадка устремилась вперед. Но норовистый жеребец не угомонился. Он помчался вслед. Я натянула мундштуки и всадила ему хорошие шпоры. Он не слушался. Момент — и передние ноги серого на подводе галичанина. Лошадки понеслись. Крестьянин сидел согнувшись. Серый как-то волочился за подводой и беспрестанно ржал. На улице собрался народ. Я с силой передернула мундштуками, Серый вздыбился и, запрокинувшись назад,

крутнулся на месте. Еще мгновение — и я была бы придавлена им. Я инстинктивно нагнулась всем корпусом вперед. Серый, мотая головой, спокойно стоял на месте. Из толпы вышел семидесятилетний старик, мой хозяин — участник турецкой кампании. Старик подошел ко мне и сказал:

— Ну и девка, ну и девка — огонь девка!

Мне это очень понравилось.

Я помню, когда в полк прибыло пополнение, мне пришлось быть проводником. Со мной шел взвод на передовые позиции. Рядом шли два молодых прапорщика. На них шуршало новенькое снаряжение. Они только что окончили школу прапорщиков. При свисте первой пули один из них низко согнулся и, увидев потом на моем лице улыбку, густо покраснел и снова нагнулся при новом свисте, только на этот раз, нагнувшись, он поочередно натягивал свои сапоги. Я посмотрела на него. Посмотрела и поняла — на его молодом, юном лице так ясно было выражено: «Вот, мол, смотри, ты ошиблась, я не испугался пули, а только хотел поправить сапоги». Я шла возле него и, когда пролетела наизлете дребезжащея пуля, я внутренне страшно испугалась: пуля шлепнулась у моих ног. Внешне я сумела скрыть свой испуг, мне хотелось показать перед идущими за мной мужчинами: «Глядите, я женщина, я не боюсь, а вы, мужчины, кланяетесь при свисте пуль».

Как-то в одном из боев наши части, продви-

нувшись вперед, вскоре были оттеснены назад противником, и роты начали отступать. На поле боя, где я пробегала, лежал раненый, к нему пробирались санитары с носилками, но, увидев наседающего противника, бросили носилки и устремились к резервным линиям. Я побежала за ними, схватила одного из них за рукав и остановила, крича на него:

— Остановись, как не стыдно, надо подобрать раненого.

Санитар побежал к носилкам, а потом, когда вынесли раненого и кончился бой, этот же самый санитар рассказывал солдатам обо мне и тут же признавался в своем постыдном бегстве.

Теперь за последнее время мне уже начинала надоедать походная жизнь, но уезжать домой я все-таки не хотела. У меня была сильная и крепкая привычка к людям, к полку. Теперь мне нравилось еще и то, что ко мне тоже привыкли, почти каждый здесь находящийся видел во мне какое-то утешение. Я проходила по окопам, солдаты меня встречали улыбаясь, и вот вчера ефрейтор в четвертой роте остановил меня и говорит:

— Эх, Зиночка, ты у нас одна, ты как приходишь к нам, — увижу тебя, на сердце так и полегчает. Что ни говори, а ты девка. Как появишься, так все внутри и подогревает, приятно на тебя глядеть, да ты еще с лица ну совсем как моя зазноба Катя.

А другой солдат ополченец, притянув меня к себе, смотрит так ласково и все просит не уходить:

— Ты, Зинка, словно моя Ульянка, она такая же черная, как ты, а вот меньшая Лизка, та вовсе не в нас пошла — белая такая и тощая. Не по нашему семейству.

Трофим в Бржезанах купил мне два носовых платочка и подарил на память, подпоручик Никольский прислал мне из Одессы, где лежал в госпитале больной, шпоры с малиновым звоном и белый с золотыми кисточками башлык. Все, кто приезжал из отпуска, привозили мне подарки. Мне нравилось мое положение здесь. Я втянулась и в походную жизнь. Разведчики — «аристократы», как их называли солдаты, прониклись ко мне теперь особенным уважением, это после того, как, сидя в убежище, при мне что-то рассказывая, Запорожец сильно ругался по-матерному и, когда Трофим его остановил, сказав: «Ты бы полегше, — Зинка ведь с нами сидит», — я взяла да сама крепко выругалась, впервые за все время. Разведчики засмеялись, и с тех пор между нами установилась особенно сильная и тесная дружба. Я своим присутствием здесь, в окопах, доставляла радость людям, сидевшим тут, в земле, ничего не видящим хорошего в этой ужасной серой окопной жизни. И от этого порой у меня было сильное нравственное удовлетворение.

Тянулись суровые дни фронта.

Днем Климыч, вытащив из-за голенища привезенное земляком нераспечатанное письмо из его деревни Никитовки, позвал меня и попросил прочитать. Тревожно-печальные вести получил Климыч из дома:

Тебе, дорожайший братец наш Василий Климыч, шлем наше нижайшее. Три месяца, как пришел я из госпиталя. Теперь на костылях хожу, по чистой уволили. Неотложно требуется прописать тебе о делах наших все до капли. Землицу в нашей округе опосля спожинки урезали и подати почали собирать на нашу бедность — непосильные. У Михайлы Курикова под спаса рябую кобылицу его со двора увели за недоплату податей. Баба его с Аксюткой-годовалкою, как стояла посередь двора, так и упала с дитятком до земли и низкие поклоны уряднику бить почала. И дитятка того не жалеючи — пнул он бабу ту, Михайлы Курикова, по грудях ее молочных. А вечером, только круглый месяц из-за околицы засветил, Синебрюхова Иннокентия, лавошника нашего приказчик, две четверти домашней наливочки в волость и потащил. А поповская Прасковья Толстозадая, перед урядником задом покрутившись, жареную индюшку с солеными огурчиками и поставила на стол. Эх, братец мой, невдомек мне, зачем войну ведете, зачем людей выбиваете на погибель несметно. Нет нам хорошей жизни. И верховоды наши издевку над нами устраивают. Крестом тебе от сырой земли до неба крещусь — оборотить штыки наши на помещиков придется. Дальше так невтерпеж. К тебе, дорогой братец, с превеликим почтением.

С тобой в близких родствах состоящий Кузьма, Клима Гаврилова сын.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Немного уцелевших построек осталось в деревне Ракитино. В полуразрушенных хатах разместились солдаты обоза. Я нашла себе квартиру на окраине деревни. Меня навестил полковой врач и пригласил перейти к ним. К вечеру я переселилась к врачам в школьный флигель. Учителя не было. Он давно выехал отсюда и покинул свое гнездо, ища нового пристанища. Небольшая под ветхой соломенной крышей деревенская школа заброшена, крыльцо заметено сугробом снега. Сильным ветром разметало солому на крыше маленького курятника. У порога одинокой своей квартиры, поджав под себя одну ногу, дремал черный петух. В деревне не слышно детского смеха. Здесь не играют в снежки.

Кое-где покажется крестьянка с ведрами, да пробежит за ней вереща собачонка и, поджав хвост, возвращается в свою конуру. Откроются ворота и, подхлестывая батогом поджарую корову, выгонит ее на водопой старый дед, школьный сторож.

Я лежу на складной кровати. Иван Иванович Морозов, младший врач полка, поочередно с Де-Морреем ухаживают за мной. Окруженная их вниманием, я быстро выздоравливаю. Целыми днями с утра до вечера и с вечера до утра играют врачи в преферанс. Бесконечно закладывается пулька.

Я ничего не могу разобрать в этой скучной игре, и мне уже надоело быть здесь. Тянет на улицу — на мороз.

Надев шинель и папаху, я тщательно закуталась и вышла в сени.

Здесь денщик Де-Моррея раздувал голенищем сапога докторский самовар. С его разутой ноги размотавшись спадает грязная онуча. Свободной рукой он трет глаза.

— Глаза засорил, Николай?

— Нет.

По лицу Николая текли слезы. Он, тихонько всхлипывая, рассказал мне о своем горе.

Николай получил из дома письмо. Кум сообщал ему о смерти сына — единственного работника в семье. Кум писал и о жене Николая. Анисья взяла к себе в работники пленного австрийца. В долгих бессонных ночах измучилась солдатка томлением о своем муже и не дождалась — сошлась с пленным. Кум каракулями своих строчек передавал Николаю о том, что в деревне пальцами на Анисью указывают, над отяжелелым животом ее посмеиваются.

В самоваре забурлил кипяток. Пар шел вверх. Николай, не расправив грубых складок онуч, натянул сапог. Понес самовар врачам.

Я медленно вышла во двор. Снег заскрипел под ногами.

Качались голые деревья. Хохлились воробьи

в дверцах чужой квартиры. Николай стоял облокотившись на плетень, подперев ладонями голову, смотрел на раскачивающийся скворешник.

Мириады снежных искр то зажигались, то снова гасли...

Утро. Снова и снова закладывается пулька. Морозов быстро тасует карты. Молодой врач Архипов поглаживает свои сальные волосы на затылке. Де-Моррей оттачивает карандашик для новых записей. Игра начинается.

Завернув в бумагу коржики, вынутые из посылки Морозовым, я была готова покинуть квартиру врачей и вернуться в окопы. Несколько часов я провела сегодня в конюшне ветеринарного околодка возле больного Гнома. Я кормила его сахаром, отдав ему весь свой запас. Гном не выздоравливал, и на его ноге была сильная опухоль.

Попрощавшись с врачами, нащупав в кармане электрический фонарик, который мне подарил Архипов, — я направилась к выходу.

Шум пропеллера. Я быстро возвращаюсь к врачам.

— Неприятельский аэроплан! — выпалила я.

— А может быть наш, почему непременно неприятельский? — испуганным голосом спросил Архипов.

Мы выскочили на улицу. Очень низко над де-

ревней пролетел аэроплан и, покружась немного над церковной площадью, взял направление ближе к нашей улице.

— Бомбы начнет бросать. В погреб, в погреб! Скорее, господа!

Де-Моррей двинулся с места, за ним все остальные. Минуты не прошло, как страшный грохот раздался невдалеке. В погребе посыпалась земля. Секунду мы ничего не понимали. Прижавшись друг к другу, сидели все молча.

— Иван Иванович, если мы так долго будем сидеть — жаль, картишки не прихватили, — нарушил тишину Де-Моррей.

Я и Архипов громко расхохотались.

— Теперь не до них, что за фантазия, доктор!

Морозов запыхтел своей маленькой трубочкой. Со двора донесся отчаянный рев коровы.

— Что случилось? Посмотрите, Иван Иванович, — Де-Моррей подтолкнул локтем Морозова.

— Ну и взгляну, думаете, боюсь? Идемте, Зина.

Мы толкнули маленькую прогнившую дверь.

В погреб ворвался запах гари.

— Горим! — диким голосом закричал Морозов.

За нами выскочили остальные.

Маленький домик учителя охватило ярким пламенем. Огонь перенесся с соседнего сарая. Бомба была сброшена шагах в сорока от погреба.

— Что за чепуха, какая цель бить по мирным

жителям, какое свинство! — возмущался Иван Иванович.

Шума пропеллера больше не слышно. Врачи помчались к своей квартире. По двору заметались денщики.

Школьный сторож тянул за рога упирающуюся корову. С золотым переливом черный петух попрежнему сидел, поджав под крыло ногу, на пороге курятника.

Первым ворвался в дом Де-Моррей. Из окон выбрасывалось имущество врачей. Летели сапоги, валенки, кителя, подушки, одеяла, книги и какие-то пузырьки. Пламя бушевало все сильней и сильней. Подняв столб дыма, упала в середину перегоревшая балка. Трещали, лопались сложенные на чердаке оконные стекла. Пламя облизывало стены ветхого домика. Вдруг от нас отделился и скачком бросился к горевшему дому Морозов.

— Иван Иванович, куда вы, что с вами, доктор? — кричал вдогонку Де-Моррей.

Но доктор уже был в квартире. В это время одна за другой рушатся балки.

— Погиб!

Архипов как-то сразу присел в снег и зашептал:

— Погиб, погиб Иван Иванович!

Но Иван Иванович не погиб.

Иван Иванович, весь перепачканный в саже, невредимым выскочил из окна горящего дома.

Разжав трясущиеся руки, он показывал нам на обуглившуюся колоду карт...

Хлопьями падал снег, белым покрывалом окутывая землю. За ночь намело много снега. Согнувшиеся фигуры солдат, переминаясь с ноги на ногу, стояли у бойниц.

— Скверное дело, ежели варежек не дадут, — говорил Климыч.

Днем австрийцы открыли беглый огонь по участку двенадцатой дивизии. Говорили, что противник хочет отбить у дивизии лес Должок. Но наша артиллерия тоже не молчала, беспрестанно громя по австрийским окопам.

Ночью пришли саперы. Ефрейтор второго взвода, придя из караула, рассказал нам о каких-то слуховых колодцах, устанавливаемых саперами. Говорили — противник роет на нашем участке минную галлерею. Бальме доносил командиру полка о слышанном солдатами его батальона стуке под землей. И, когда воцарилась ночная темь, люди насторожились и всюду шептались, и всюду было слышно одно зловещее слово: «подкоп».

Мы не могли спать. Прислушивались. Долгая зимняя ночь казалась теперь удлиненной в десятки, сотни раз. Каждый думал, что вот сейчас, через две-три секунды все взлетит на воздух. Все были наэлектризованы, болезненно напряжены были нервы. И если ночью в расположении второй роты,

где противник больше всего бросал эти ужасные крякающие мины, слышались их взрывы, все думали: началось. Но проходило немного времени, и прекращалось крякание мин. Люди тревожно засыпали и, измученные, подергивались во сне.

Наступал яркий, светлый от блеска снега день — и исчезало страшное томление. Начиная работы, люди немного отвлеклись, но ненадолго. Часовые у слуховых колодцев стояли на страже. Первое время еще недавно отдаленный глухой стук под землей теперь слышался ясно. Подкоп продолжался. Нервно прохаживался по окопам вернувшийся из лазарета капитан Мельников. Беспрерывно посылались в деревню вестовые с донесением-просьбой к Плахову о смене позиции. Роты оставались на местах. Люди истомились. В котелках оставалась недоеденной каша. Отважный капитан Мельников пробовал шутить с солдатами, но его шутки, обычно веселившие всех, сейчас не привлекали внимания. Десятки человеческих глаз устремляли на Мельникова свой вопрошающий взор. Капитан был бессилен. Плахов приказывал оставаться на местах.

— Заживо похоронить собираются, — говорил Мельников Бальме.

— Дальше так невозможно. Я беру на себя ответственность и отведу ночью роты в резервную линию, — заявил наконец капитан командиру батальона.

Близилась ночь, и с нею надвигался страх. Люди ждали. Австрийцы не стучали больше. Тихо было и на следующий день.

— Надо ждать взрыва, — передавал в донесении батальонный.

Плахов был неумолим.

По приказанию Мельникова роты с наступлением темноты должны были передвинуться в резервные окопы. Пообедав, солдаты не облизывали, как раньше, своих ложек, поворачивая их на все стороны. Не вытертыми пихали их за голенища. И если ложка упиралась, отламывали раздраженно ручку и остаток совали в карман или вовсе выбрасывали. «Жук» — курчавая собака пулеметчиков, суетился, подпрыгивал и лизал руки солдат.

Я ободрала войлок с дверей землянки и, завязав его в палатку, перекинула огромный узел через плечо и вышла из окопов. В узком проходе увидела знакомую стройную фигуру Сашки.

— За тобой пришел. Поедем со мной, Зина. В тыл еду. Отвечай, Зина. Все передумал, я, так сказать, жениться на тебе хочу. Ты на меня не злись.

— Зачем я тебе, Саш?

— Говорю, жениться хочу. Без утайки буду говорить — люблю тебя, и все тут. Какие разговоры? Поедем со мной, в согласии с тобой буду жить.

Сашка мне нравился, если я не видела его по-

долгу — вкрадывалась тоска, хотелось его видеть, но быть сашкиной женой? Нет! Куда я пойду с ним? Мне мало лет, да и дома что скажут?

— Саш, я тоже тебя люблю, но... жить с тобой, быть твоей женой не могу. Мать и отец не согласятся за тебя замуж отдать. Не поеду, а тебя я люблю.

— Сама говорила, если любить, так уж любить, так сказать, по-настоящему, а теперь что, смелости не хватает, или не подходящ? Не хотишь, Зина? Эх ты! Говорил я тебе — чужая ты мне, и ноне скажу — чужая и есть. У нас с тобой врозь дороженьки идут. Не по пути. Думал — не такая уж ты баба, ежели на войну пошла. Думал — отошла ты от бабьего несуразу всякого, видать — нет, свое берет. Ну, прощай, силовать не буду. Твоя воля. Вот тебе моя фотография, и до свидания.

Сашка вытащил из кармана свою карточку, обтер ее носовым платком и протянул мне. Сдвинул набекрень шапку, выставил свой белый чуб. Вещевой мешок-лямку на плечах поправил, попрощался со мной долгим поцелуем и пошел...

Оглянулся — сердце защемило. Догнать, остановить его, итти с ним...

— Саш, Сашка!

Но не криком сказала, а шопотом, и неуверенный зов мой замер вдруг, и больше не звала я Сашку. Повернулась, пошла в роту.

Под аккомпанемент расстроенной трехструнной балалайки, раскачивая головой из стороны в сторону, напевал песню солдат Ерыга:

Не то, ну-те,
Не то, тпру-те,
Говорили про войну:
То ли месяц,
То ли два и
Не боле — полтора —
Мир объявится сполна.
Темна ноченька пройдет,
Ясно солнышко взойдет,
По окопам немец бьет,
Землю кровушкой зальет.
Глянь-ка, братцы, там убило,
Здесь пораняты лежать,
А начальства, задрав рыло,
Про конец войны трещать.
Не то, ну-те,
Не то, тпру-те,
Говорили про войну...

Снова и снова затягивал свою песню Ерыга, и только с приходом из обоза ротного раздатчика он замолчал.

Ерыга, всегда затянутый ремнем «на последнюю дырочку», одернул свою необыкновенно коротенькую гимнастерку и, взглянув на вошедшего своими маленькими, как горошинки, глазками, стал прислушиваться к обозным новостям. Раздатчик говорил, что будто бы в одной из пехотных дивизий полк отказался итти в наступление. Солдаты

устроили бунт — в шестой раз на высоту наступать не хотели. Много жертв понес спешенный конный корпус. И там, рассказывал солдат, люди оглохли от беспрерывных выстрелов пушек Шимоза, дрожал город Боян от страшной канонады. Шли солдаты по покрытому трупами снежному полю, жестокими контр-атаками отбивались германцы. И будто бы новый приказ из штаба дивизии отдавал распоряжение вновь итти на штурм неприятельских линий.

Еще раздатчик сказал, что ставропольцам пришел приказ выступить на подмогу конному корпусу.

Вслед за авангардом полка шла полицейская команда. В походе «рашпили» задержали трех кавалеристов конного корпуса. Они подгоняли дезертиров палками, «подбадривали» матюками. Ноги солдат путались — не шли. Полицейские, не давая им задерживаться, сказать слово с пехотинцами, толкали их в спину. Один из кавалеристов бросил ставропольцам на ходу:

— Не идите туда, на погибель посылают.

Шла, хмурилась пехота.

Без большого привала, пройдя пятьдесят километров, полк двинулся на позицию. Люди были без сна и, не накормленные горячей пищей, знали, что скоро прикажут итти в бой. Два раненных пехотинца встретились нашим разведчикам.

— Почему, братцы, поддержки нам не дали? Наш-то полк взбунтовал, не схотел в атаку иттить, сил не стало, наступали, наступали, в ротах по пять-шесть человек осталось. Просили объяснения у ахфицеров — зачем людей столько выбивают зря, не ответили. Молчат — насупились, а на утро сызнова в атаку погнали. Сколько брата нашего полегло — не счесть. Не выдержали, и давай кто куда. Кавалерия маленько допомогу дала, тоже отказалась наступать и давай текать. Говорят — сколько наших в тылу переловили и почем-зря лупцуют. Вчера фельдфебель и ротный в ходу сообщения уж так измордовали братцев да все приговаривали: дезертир, дезертир, сукин сын, бунтовать, мы те покажем, мы те побунтуем. Кабы нас было множество, не сдобровать бы им, а то стоим впятером. Матвей Дерякин-то под кулаком их благородия кровью затек, а мы стоим и молчим, мало нас, ну и стоим, глядим без смелости, значит.

Раненые прикурили у разведчиков и, поддерживаемые друг другом, двинулись дальше.

Новые окопы были очень мелки, и не было в них ни одной хорошей землянки. Даже я сгибаясь вошла в новое убежище. Там посредине стоял какой-то сломанный ящик, и в углу был наметен сугроб снега. Снег падал в отверстие разрушенного потолка. Над головами у нас низко спускалось торчащее бревно.

— На зимние фатеры приехали. И здеся не легче. Домой бы сейчас на полатя, — качая головой, заговорил Трофим.

Мы уселись на лежанке, ничем не покрытой. Все были утомлены переходом и сидением в прежних окопах. Темная горячая жижица, принесенная раздатчиком, согрела немного кишки. Сидя засыпали.

Содрогнулась земля. Страшным, оглушительным гулом отдалось эхо.

— Взрыв! — сказал кто-то.

— Господи, Микола-мученик, что оно такое?

Терехин часто закрестился.

Мы выбежали в ход сообщения. Батальонный вестовой бежал, сломя голову.

— Взрыв в 12 дивизии! — бросил он нам три слова и помчался дальше. За ним погнался Ерыга, остановил его и спросил:

— Где? Кого взорвали?

— Взорвали соседей, сейчас надо ждать атаки противника, или наши перейдут в контр-атаку, — ответил вестовой.

Слева заклокотали пулеметы и открылась частая ружейная стрельба. Против нас усилился артиллерийский огонь. Пробежал телефонист батальонного. Климыч схватил его за рукав:

— Скажи, ежели что знаешь! Пошто людей томить? В толк не возьмешь, взад или вперед?

— Саперы, наши саперы взорвали на участке 12 дивизии австрийцев, паника у них, текают почем зря.

— Слава те! Поутру чаек с галетами готов! — и, кутаясь в свой старенький вязаный шарф, Трофим подобрал набежавшую слюну и перекрестился.

Никто не предполагал, что одновременно с австрийцами, только на другом участке позиции, рыли подкоп наши саперы. Никто не мечтал о сне в теплых австрийских блиндажах. Никто не ожидал чистой смены белья из австрийских ранцев.

А на утро четыре линии неприятельских окопов, устроенных с большим комфортом — заняли наши части без потерь.

Черешенко, потеребив свои усы, улыбнулся:

— Ото ще диво, — листричество по фронту, совсем як у нашего пана Мищенко на заводи. Якогось гудзика крутнешь, и блескотит, як в тиатрах. Ну и австрияки! А бачите як они подвозили патроны — на самоперчиках! Во! жалко навить убивать таку разумну людину, — беспрестанно повертывая выключатель, любовался австрийскими усовершенствованиями Черешенко.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ветер подмел окопы и затих. Над неприятельскими линиями задымили печи. Австрийские батареи не стреляли.

Наступила настоящая, словно северная зима. Люди устраивали потеплее свои берлоги. В землянках офицеров горели дрова в железных печках. Солдаты кололи полена и в сумерки разожгли огонь.

Нам опять выдали папахи и башлыки. Мне очень нравился этот новый головной убор, и, надвинув папаху, я закуталась башлыком и оглядывала себя в зеркало. В землянке было жарко, а мне не хотелось раздеваться. Я села согнувшись, уперлась подбородком в колени.

Терехин подбрасывал в печку дрова, ковырял их штыком. Ерыга, притопывая ногой и ударяя по пряжке пояса щепочкой, пел:

Как в окопах мы сидели,
Ото вшей тех очумели,
А приехал енерал,
Он нам в морды надавал
Так, незнамо и пошто,
Аж заныло все нутро.
Тут мы к взводному: — Мотри!
Нутько, слезы оботри!
А ён обиды не понял
И нам нос наковырял...

Терехин пришлепнул губами, потянул в себя из висевшей у него на губе козьей ножки, выпустил дым и, раскачивая головой, уставился на Ерыгу.

— Выслушай меня, парень. Думки у тебя, как те поганки после дождю развелись, так и вылазят одна наперед другой. Выкинь их к чертям. Осво-

боди от них голову. Ты на господа бога не охульствуй, смотри, ниспошлет он тебе наказание.

— Ты, Трофим, мужик серьезный — нечего говорить. Без глупостев. Согласия я с тобой иметь все же не могу, потому самому и обиды на меня не имей. Буду с тобой в откровенности. У тебя понятия насчет того самого, господа бога и вредности от государевой власти, могу тебе прямо сказать — никакой. И тут из тебя такой грамотей, так прямо и буду говорить — как из глины пуля, потому самому правду говорю.

— Зачем серчать? Неслед серчать. Смышленый ты, спорить не стану. А все же не по праву рассуждения имеешь. Царь — он помазанник божий, и в его подчинении вся Россия, и без . . .

— Помазанник? Да ты что, Трофим, какой он помазанник? Хоть ты, хоть я, хоть царь — все из одной закваски сделаны. А царь со всеми министрами такие же люди, как я тебе говорю, одинаковой фабрикации, потому самому одинаково все делаются. Да тебе ли, Трофим, рассказывать, от чьего озорства наши бабы и девки слезами обливаются? Катерина, сестра моя, писала мне — экономом Курбатова увязался за ней, Маланьку — корову нашу — продать пришлось, одна она у нас и была. Вишь дело-то какое вышло. Увязался за Катериной эконом, проходу не стал давать, ну, от охальства его со двора помещичьего и уволилась. Корову прожили. Читал ее письмо — руки зачесались, да

не достать мне отсюда морды охальничьей. Оно так може и ничего, ну, попользовался бы мужик девкой разок, да беда, потому самому — нос у него с пропахом. Вот дела какие, Трофим. Зинка, довольно тебе дворяниться, поди дров подколи. Да скажи взводному, чтоб папаху сменил, а то у тебя нос из-под этой, как рыжик, торчит.

Климыч в сотый раз огибал плечами у входа и вновь отмерял шаги. Нервно чесал свою рыжую бороду поломанным гребешком.

— Да брось, Климыч! Велико дело, девку замуж отдают, ну и пускай идет — года подошли, чаво ждать? Оно понятно, досада тебя берет, без тебя свадьбу отыграют. А ты девке не супречь — видать, жених залихватский.

— Ты, Трофимыч, зря говоришь. Девке срок подошел — спорить не стану. Али за кого идет-то? Брат урядника, Николай Фитихин, вдовец с тремя ребятами. Он с утра до ночи пьет. На деревне шла о нем слава: бабу свою, покойницу, до смерти забил. Да одно дитятко в брюхе ее замертвил. Зачем так зря говоришь, если не знаешь о делах моего семейства? Настюшка моя на всю округу девка — красивей нет! Эх, братцы, обида!

— А ты, Климыч, на такую горесть не печалься больно-то. Тебе это я могу посоветовать — поспи, перейдет печаль. Все равно отсюда не гукнешь семейству-то: стой, мол. Далеко они от нас.

У меня плохо рубились дрова, нехватало сил. Я пошла к взводному. По дороге мне встретился солдат. Под боком придерживая локтем, он нес розовый мешочек.

— Беги, скажи ребятам, Зина, подарки привезли, мы уж получили. Сказать — дрянцо, а все-таки на денек побаловаться хватит.

Стуча каблуками о промерзшую землю, я побежала к себе в землянку. У нас сидели Черешенко и Запорожец.

— Опоздала, я уже сказал, смотри, яку люстерку получил. Она мне не нужна. Зин, променяй мне люстерку на тютюн, если у тебя попадется. Смотри, какая люстерка.

Черешенко протянул мне зеркальце, на обратной стороне которого была изображена царица Александра. Василий Климыч открыл жестяную коробочку:

— Угощайся, Зина, — хорошие леденчики.

Черешенко громко смеялся, рассматривая подарки:

— Хлопци, та що це таке? Шнур получил, та скрученный як красиво. Вот жалко, Сашки нема, он их любит, а мне он на чорта, хиба ж в окопах гулька какая бывает? Ну, куда я его поцеплю?

Мы сидели, разглядывали подарки и устраивали обмен.

Ставропольцы сменили Якутский полк.

Непосильные морозы стояли все эти дни. Много солдат отправлялось в тыл с ужасающей гангреной ног.

Лютый холод зимы шестнадцатого года не щадил никого.

На рассвете мы шли с Терехиным в полевой караул.

Падал снег.

— Вот и смена пришла, вставай!

Терехин толкнул часового. Серая фигура, облокотясь на стенку, опустив голову, упиралась темной бородой в грудь. Руки раскинулись. Одна черная варежка его в пестрых заплатах валялась на земле.

— Вставай, братец, — смена пришла! — Трофим снова нагнулся над солдатом.

Серая фигура не отзывалась.

Трофим приблизился к уху часового и крикнул:

— Смена! Проснись, братец!

Молчание.

Вдруг Трофим схватил меня за руку и крепко ее стиснул:

— Зин, Зиночка, снежок-то на ем не тает. Упокойничек сидит, ей-бо, упокойничек!

Часовой не проснулся и сна своего поутру не рассказал своим землякам.

Терехин поднял с земли варежку, померил — подошла. Другую стянул с окоченевших пальцев солдата, похлопал рукавицами.

— Пригодилась, прости, господи, мя грешного!

Позже пришли санитары. В ледяной тяжести серую фигуру, кряхтя, подняли.

На глубоких морщинах не таяли звезды снега. В вечной дреме застыло лицо. Тело в коленях не разгибалось.

А на том выступе, где уснул в эту лютую ночь часовой, ситцевый лежал кисет его, туго закрученный веревочкой, да на земле валялся козьей ножки окурок.

Мы вернулись из караула, в убежище нашем присесть было негде. Полно набилось солдат. Я поднесла руки к огню, — защемило кончики пальцев. Солдаты шумели, перебивая друг друга:

— Братцы, он рассказывал — в резерв угнали тот полк, а зачинщиков под арест посадили. Следствие будут делать. Главной-то зачинщик, говорят, писарь ротный.

— А Гаврилка-то, знаете, что говорил? Из Питера он приехал, рассказывал, что у царя с царицею во дворце поп какой-то за всех верховодит.

Солдаты жужжат, словно пчелы.

Я вышла из землянки. Недалеко в ходе сообщения стояли связные и тоже о чем-то громко беседовали.

Два дня продолжался бой за взятие высоты триста шестьдесят семь. В разрушенных халупах,

сараях, всюду лежали раненые. Фельдшера, врачи и санитары не успевали накладывать перевязки. Многих раненых отправляли в тыл, не сменив просочившегося кровью бинта.

Нередки были случаи, когда у солдат встречались перевязки, наложенные на передовых линиях плохо обученными санитарами. Последние, полагая, что рана сильно «печеть», сначала накладывали на свежую рану черную клеенку — внутреннюю сторону упаковки бинта, отчего нередко случались заражения. Отучить санитаров от этого зла было трудно. И, несмотря на увещевания полковых врачей, они продолжали делать по-своему.

Жиром налитой, неповоротливый фельдшер Наумыч своими пальцами-коротельками белую ленту марли вкладывал в кровавый глазной провал.

Младший унтер-офицер, широко открыв рот, жадно хлебнул воздух. Пряный белый ком ваты вновь надавил ему на нос. Солдат погрузился в забытье. Хрусталь слез и алые капли, струясь по лицу, стекали к засаленному грязью воротнику. Солдата прикрыли, положили его на носилки и унесли в другую половину хаты, к хирургу.

Как будто острым ножом вырезали и сняли толстый пласт мяса с лопатки солдата Башмакина. Синела контузией оголенная кость. Фельдшер положил ворох марли на рану, прикрыл густым слоем ваты. Кровь просачивалась через повязку.

— Отправляйте его в лазарет — двуколка ожи-

дает! — фельдшер поднял солдата своими сильными руками и положил его на носилки.

Снова партия раненых, только что прибывших, новым воплем заполнила перевязочный пункт.

Худой, щуплый ефрейтор пулеметной команды Кузька, раненный в пах, крепко спал. Де-Моррей снял свое пенснэ. Стекла заволакивались дыханием Де-Моррея и тщательно протирались носовым платком. Заложив руки за спину, доктор наклонился над раненым.

Около раны Кузьки, под ватной подушечкой, присосавшись к воспаленной ране солдата, оттопырив налитое свое пузо, — грелись вши. Кровь запеклась на ране Кузьки, склеились волосы. Торчало острое жало осколка бомбы.

— Рана — пустяки, разбудите его, — обратился к фельдшеру Де-Моррей.

Солдата растормошили.

Синие глаза Кузьки смотрели на доктора.

— Домой поеду?

— Может и поедешь, да в госпиталь не больше, как на месяц.

Увидев пинцет в руках врача, Кузька приподнялся. Его невинно-детские глаза устремили взгляд свой на блестящий инструмент, а потом на рану. Кузька увидел вши. Кузька заплакал, как ребенок, приговаривая:

— Осподи, м-мам-ка моя, родимая, где спокой от них сыскать? Рану кусают, окаянные!

Кузька рыдал, как дитя, захлебываясь от слез.

В халупу внесли раненного бородача, положили на стол. Раскрыли его шинель. Халупа наполнилась зловонием человеческого испражнения. Бородача перевернули на бок, разрезали брюки. На ягодице зияла рана. Сгустки крови перемешались с желтым месивом. Из принесенного таза санитар обмывал солдата, но ослабевшие мышцы раненого не уменьшали работы санитара. Фельдшер поднес пузырек с нашатырем, раненый запрокинул голову, его борода лопаткой торчала вверх. Протяжный стон оборвался выкриком непосильной боли.

Скуластый татарин, щуря раскосые глазки, стоял на очереди и ждал перевязки.

Разбинтовали руку Ибрагима Ахмедова. Раздробленная кисть его правой руки чернела ожогом. Фельшер обмывал вокруг рану перекисью водорода.

Главный врач, посмотрев на рану и поглаживая рукой свое чисто выбритое лицо, передразнивал раненого:

— Сама себя ранила? Сама себя стреляла?

Фельдшер уже заносил что-то в книгу записей.

— Присягу на верность принимал? Не знаешь, кому служишь? — пробурчал Наумыч.

Тоненьким голоском, заикаясь, Ахмедов, уставившись на кончик носа врача, забормотал:

— Моя . . . моя казарма служил . . . Окопы служил . . . Казань нада . . .

Татарин как-то жалко улыбался и вопросительно глядел то на старшего врача, то на окружавших солдат.

Ибрагим Ахмедов еще не знал о введенном наказании для самострельщиков — пятьдесят розог.

Ибрагим Ахмедов еще не видел грозы полицейской команды, фельдфебеля Дубело, под наблюдением которого совершалась эта экзекуция.

Ибрагим Ахмедов, разглядывая свежую повязку и вертя обмотанной рукой, как марионеткой — улыбался.

В окопах ожидали прихода румын.

Наша артиллерия, обнаружив наблюдательный пункт на здании австрийской таможни, беспрерывно громила эту длинную кирпичную постройку. Несколько снарядов в виду недолета попали в стоящую невдалеке румынскую таможню. На следующий день румыны потребовали объяснения.

Офицеры готовились к встрече. Сиял начищенный портсигар капитана Мельникова. Блестели сапоги на офицерских ногах. Заботливо одергивались портупеи. Штаб-офицеры, прохаживаясь по ходу сообщения, приподымались на носках и заглядывали поверх траверса.

Наконец показалась группа румын, шедшая к нам в окопы. Осторожно ступая ногами, обутыми в лакированные ботинки, на которых тонкой резины галоши, в костюмах поразительной аккурат-

ности — шли румынские офицеры. За ними двигались их вестовые, имея с собой изящные кожаные чемоданчики.

Дежурный артиллерийский офицер и командир полка после обмена приветствиями с румынами давали объяснения прибывшим, извиняясь за нечаянное попадание снарядов в их таможню. Румыны, разгоряченные, волнуясь, говорили что-то нашим артиллеристам.

Пробыв в землянке командира батальона полчаса, все снова вышли.

Румыны пожали русским офицерам руки и, очевидно окончательно успокоенные, направились к своей границе. Вестовые, следуя за своим начальством, временами подбегали на их окрик, расстегивали изящные саквояжи и, вынимая оттуда аппетитные заманчивые апельсины, преподносили их своим офицерам.

Румыны ушли.

Солдаты нашего батальона, отстранившись от бойниц, ползали на четвереньках по ходу сообщения, подбирая набросанные румынами апельсинные корки.

Меня вызвали в штаб полка.

По дороге к деревне Заваровцы мне встретились артиллеристы четвертой батареи.

— Доброволица, иди к нам в гости.

Я свернула с дороги и узкой тропинкой пошла

на батарею. Меня обступили солдаты, угостили обедом. Бомбардир-наводчик объяснял мне устройство орудий. И только поздно вечером я уехала от них.

Утром в штабе адъютант полка прочел мне приказ о моем награждении за проявленную храбрость в бою под деревней Синуха. Распечатал конверт и достал оттуда Георгиевский крест четвертой степени. Приколол его к моей шинели.

Не помню, как я вышла из штаба, стремглав помчалась в полк. На дворе морозно, а мне жарко. По дороге я все посматривала на блестящий крестик, придерживала его рукой.

В ходе сообщения сбила с ног какого-то солдата. У дверей нашей землянки споткнулась и шлепнулась. Оглянулась — не видал ли кто-нибудь — падение ошарашило меня, разбитая нога заболела. В голове как-то сразу промелькнула картина из моего детства. Это было при моем переходе из первого класса гимназии во второй. Мать обещала выполнить мою просьбу—мою мечту: подарить мне куклу-негритянку, но при условии, если я перейду в следующий класс без переэкзаменовок. Каждый день я проходила мимо витрины игрушечного магазина. Там была выставлена прекрасная негритянка. Она стояла, одетая в красное платье с белыми горошками. В этот памятный день, когда вдоль моего табеля была приговором выведена надпись: «переэкзаменовка по арифметике»,

я также проходила мимо заманчивой витрины. Негритянка стояла там, красуясь попрежнему. Электрический свет обливал ее, всю шоколадную. Дома на вопрос матери: «Перешла?» — с упорством солгала: «Да, без переэкзаменовки». А на просьбу матери показать табель ответила: «Табеля еще не выдавали». У меня было одно желание: иметь негритянку. И вечером я уже крепко держала ее в руках.

На следующий день мать встретила учителя математики и узнала правду. В этот день, когда я сидела в детской на кровати и расчесывала непокорные волосы негритянки, меня позвали в кабинет к отцу. Там было поставлено три стула, меня положили на них и, стянув штанишки, больно пороли, стегая прутом по голому телу. Позже... В моей комнате не было больше негритянки, ее положили обратно в коробку, спрятали и никогда мне не возвращали. Такая расправа подействовала на меня отчаянно. В те часы я была страшно одинока и, кроме физической боли, я казалась себе жалкой и смешной. С тех пор я раз навсегда боялась этого чувства — быть смешной.

Ерыга бросил свою балалайку, и его маленькие черные глазки уставились на мой крест.

— Глянь! Зинка крест получила! Это тебе наверное за разведку, потому самому донесение важное доставила.

— Тебе бы теперь домой съездить, Зин, а что, если поедешь, боле не вернешься? — спросил Трофим.

Домой? А что, если в самом деле поехать? Поеду домой!

Всю ночь мне снилась наша квартира в Адмиралтейской слободе, я видела отца, мать, Вальку и старую няньку Алексевнушку.

А на утро, идя к ротному командиру сказать о своем намерении, я каждой пуле низко кланялась и падала на землю при шипении снаряда. Мне все казалось — в меня попадет, не минует.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сидя в поезде, я ни на минуту не расставалась с полевой сумкой, которую мне подарил Ерыга, и все поглядывала на документы, хранящиеся в ней. Тут был отпускной билет и выписка из приказа о моем награждении, а также литер для обратного проезда в действующую армию.

На станции Жмеринка я вышла из вагона и отправилась в буфет. В дверях зала первого класса меня остановил швейцар:

— Не полагается нижним чинам сюда, иди в третий класс.

Посмотрев удивленно на старика, я повернулась обратно. К дверям приближался генерал. Наброшенная на плечи его николаевская шинель алела подкладкой.

— Пропустить! Доброволец — георгиевский кавалер.

Швейцар степенно разгладил свою бороду, отодвинулся в сторону:

— Пожалте-с, виноват-с! — и пропустил меня в зал.

Там, пройдя к столу, я плюхнулась на стул. Сидящий напротив меня полковник приподнялся:

— Если садишься с начальством за стол — попроси разрешения. Какой части, удостоверение есть?

Расстегнула ерыгину сумку и важно протянула свои документы.

— Очень рад познакомиться. Это редкость. Куда следуете?

Полковник задавал мне десятки вопросов, и я едва успевала ему отвечать. Наконец мягкий баритон швейцара: «Второй з-во-н-ок, О-де-с-с-а — М-ос-к-ва!» — прервал на полуслове новый вопрос полковника. Я выскочила на перрон и устремилась к своему вагону.

В Брянске проводник вагона объявил пассажирам о длительной здесь стоянке. Вместо обычных сорока минут, поезд задерживается на сутки.

В зале третьего класса сидели солдаты, облокотясь один на другого. У стены, возле мусорного ящика, примостилась женщина с ребенком. Увидев меня, она поднялась. На ломаном русско-украинском наречии она обратилась ко мне:

— Слушай, хлопчик, может ты из действующей едешь? Чи не бачил ты там мово Миколая? Он в пехоте служил. Писал—домой в отпуск едет. Уж восемь недель прошло, а его нема. Всех пытаю, по всех вокзалах шукаю его — нема Миколая. Сгинул десь.

Женщина плакала и беспрестанно, качая головой, приговаривала:

— Нема Миколая, нема! Сгинул!

Многочисленные составы поездов загромоздили путь. Высунувшиеся из санитарного вагона сестры пригласили меня к себе. Две сестры — жгучие брюнетки, жизнерадостные хохотушки, бросились меня целовать. Угощали конфетами, предлагали вина. Третья — как ее звали сестры, Софья Гарина, — смотрела на меня вымученно-грустными глазами. Она потянула меня за руку, и мы вышли с ней в коридор.

— Скажите, правда, на передовой линии не такие люди, как здесь? Как мне попасть туда? Я не могу здесь оставаться. У нас бесконечные попойки, кутежи — противно все это, гадко! И как тяжело бороться одной против этого! На нас, сестер, там уж привыкли смотреть: а, сестричка! — значит с ней все можно позволить. Тяжело отстаивать свою репутацию. Я побывала в трех лазаретах прифронтовой полосы — всюду одно и то же. Бросить работы я не могу, родные живут впроголодь. Защищаешь себя — начинается травля. На-

днях меня чуть было не уволили. Я дала оплеуху сотнику. Наглец дошел до крайности. Пьяный, он набрал в рот коньяку и брызнул в меня изо рта и потом кричал: «Целуй меня, целуй, чего нахохлилась?» Я не могу больше здесь находиться! Не могу!

Живи, пока живется, и пой, пока поется,
Ведь в жизни живем мы, живем лишь только раз...—

вибрирующим голосом пропела сестра, пройдя мимо нас.

Сестра Гарина написала мне свой адрес, сунула в руку записочку.

Попрощавшись с сестрами, я побрела вдоль санитарного поезда. Санитары в белых халатах выгружали раненых. Пронесли немецкого офицера, раненного в грудь. Лейтенант хрипел. Дыхание с присвистом вырывалось из его легких.

Под сильными винными парами, еле передвигая ноги, жандармский ротмистр и молодой корнет, шедшие по перрону, перешли через рельсы и направились к санитарному вагону.

Из вагона, при помощи санитаров, вышел раненный солдат на костылях. Ротмистр и корнет, поровнявшись с ним, остановились. Корнет, взяв раненого за подбородок, пьяным голосом заговорил:

— Ножки отбило, бедненький солдатик! По чистой уволишься. Чего нос на квинту повесил? —

и, одернув солдата, корнет с силой поднял ему вверх нос. От боли глаза солдата заволоклись слезами.

Офицеры, задержавшись на минуту возле лейтенанта, отошли несколько шагов и снова вернулись.

Корнет наклонился над лейтенантом:

— Хрипит, свинья!

И резким пинком толкнул немца в бок.

В одно мгновенье вскочил лейтенант, оставляя на холсте носилок огромный кровавый след. Лихорадочным блеском горели его глаза. Прозрачно-восковое лицо его дрожало конвульсиями. Простреленная грудь выпрямилась — лейтенант, высоко поднимая ногу, размеренным немецким шагом, с поднятой вверх головой, прошел мимо пьяных офицеров.

Санитары с носилками, вобрав голову в плечи и озираясь на офицеров, растерянно следовали за лейтенантом.

Ротмистр и корнет, перебросившись каким-то неприятно-неестественным смешком, направились к вагону сестер, откуда доносилось громкое пение:

Черные гусары — марш вперед,
Труба зовет, марш вперед!
Эх, наливайте чары, черные
Гусары... Смерть вас ждет...
Труба зовет...

Прохаживаясь в сотый раз по освещенной платформе, я обращала на себя внимание прохожих. Меня не раз останавливали, спрашивали, какого я полка, сколько мне лет. Женщины приходили в восторг, хватали и щупали мой крест.

Утром наш поезд тронулся. Станционные будки, водокачки, стрелочники и их зеленые флажки завертелись перед глазами. Лентой промелькнули проселочные дороги. В уходящей дали, словно карточные домики, рушились, падая в бугры, крестьянские избы.

Я надоедала проводнику своими расспросами— когда поезд приходит в Казань.

Вечером, раздеваясь, я нашла в кармане записочку сестры Гариной. Софья писала в ней неясным, мелким почерком:

Не удивляйтесь моему желанию ехать на передовые позиции — меня заразили страшной болезнью: я должна умереть. Я не хочу жить так, а кончить, сразу разделаться с жизнью — не хватает сил. На позиции меня убьют, я погибну, но смерть моя на поле боя обеспечит моих стариков.

Вздохнув остановился, выпустив свое дыхание-пар, паровоз.

Я выпрыгнула на знакомый перрон вокзала моей милой Казани.

В коричневой сыпи — белая клячонка старенького извозчика тащила меня по дамбе в Адмиралтейскую слободу.

Извозчик помахивал кнутом, оглядывался в мою сторону и, ухмыляясь, говорил:

— Мамашу вашу знаю, в город с ней не раз ездил. И братца вашего, покойничка — царство ему небесное — знавал. Они вместе с моим Ваней в гимназиях учились. Ваня мой и теперь учится, сильно у него способность большая. Их высокородие Демьян Аркадьевич — учитель феографии, многие им лета, я у них помесячным состоял — пристроили моего Ваню к бесплатному учению. Тпррру! Стой, неугомонная! Вот здесь и Крамские живут. На радостях свиданьица на чаек пожалуйте. Овес ноне во какой дорогой, а деньжонкам цена малая. Вы-со-ка-я цена на зерно! — и, подняв вверх свое кнутовище, извозчик привстал с козел.

Заплатив ему целковый, я выпрыгнула из саней. Я долго стояла на нашем крыльце и не решалась позвонить. Наконец поднялась на носках и нажала тихонько кнопку.

Знакомые мелкие шажки валькиных ног застучали по лестнице.

— Кто там?

— Валька, открой — свои!

Не целуя, не обнимая меня крепко — сестра бегом понеслась по ступенькам в коридор.

— Мама, мамочка, Зина вернулась!

На секунду молчание и снова голос сестры:

— Да идите же скорее, Зина приехала!

Нежные руки матери грели меня своей лаской.

Отец в крепком пожатии держал мою руку. Валька, волнуясь и заикаясь, спрашивала:

— Зина, Зиночка, за что крест получила? Скажи, милая, не поедешь больше на фронт? Останешься с нами? — И, подпрыгнув на месте, Валька громко закричала: — Ур-ра! Зинка приехала!

А через минуту, сидя в маленькой нашей столовой, старая нянька Алексевнушка, заливаясь жаркими слезами, гладила мою стриженую голову и все приговаривала:

— Голубушка моя Зинуша, на кого ж ты старую меня покинула? Времена-то какие пошли—барышня моя солдатом сделалась! Мой покойничек, дорогой Ульяныч, бывало, какие страсти про турецкую кампанию рассказывал. А ты, голубушка, ужли не боялась на зверство к немчурам попасть?

— Алексевнушка, все потом расскажу, все расскажу! — успокаивала я причитавшую старуху.

Отец ходил из угла в угол, дымил трубкой, глядел на меня и все повторял:

— Зинаидище-то наша какой герой, какой герой!

То подвывая, то визгливо лая — лизал мои руки дряхлый наш пес Тобик.

Утомленная дорогой, убаюканная лаской матери, в эту ночь я сладко уснула в чистой и мягкой постели.

На следующий день, обегав всех знакомых, мы возвращались с сестрой домой. Недалеко от слободы мы подверглись нападению мальчишек.

Увидев меня, они бесцеремонно подскочили ко мне и, высовывая языки, строили всевозможные гримасы. Один из подростков, внимательно смотревший на мой крест, вдруг отпустил по моему адресу скабрезное словечко. Возмутившись их приставанием, я не выдержала и, подбежав к белобрысому верзиле, набросилась на него с кулаками. Моя внезапная оборона, сильные удары, которые я отпускала верзиле, изумили мальчишек, и они, совершенно неожиданно для нас с Валькой, принялись мять белобрысого. Верзила, отскочив в сторону, выставив свои жемчужные зубы, ничуть не смущаясь моей победой, громко смеялся:

— Ай да ну, ай да ну, вот так солдат с сиськами!

Мальчишки щупали мой крест, и один из них заботливо и дружески оправлял мою шинель. Мирно побеседовав с ними, я взяла Вальку об руку и, еще раз оглянувшись на мальчишек и все-таки показав им кулак, пошла домой.

Дома сестра, жестикулируя и горячась, рассказывала отцу, преувеличивая историю с мальчишками. Алексевнушка слушала разинув рот. Я сидела на диване, заложив руки на голову, и тихонько посвистывала.

Целые вечера просиживала я у печки, окруженная домашними. Я совершенно не замечала того

азарта и увлечения, с каким я рассказывала им о своей жизни на фронте. Валька слушала, широко раскрыв свои красивые серые глаза, мать вглядывалась в меня подолгу, не отрывая взора, старая нянька то-и-дело вытирала набежавшую слезу. Отец, иногда перебивая, задавал мне вопрос:

— Зинаидище, я надеюсь, ты больше не поедешь?

В носу щекотало от запаха сдобных булок. Предпраздничная суета домашних заставила меня быстро одеться.

В коридоре, над большим старым сундуком, возился отец. Отстранив мать, он что-то искал на дне сундука.

— Есть! Нашел! Нашел!

Засаленная старая лента аннинского темляка переплеталась вокруг шпаги в трясущихся руках старика. Мать, протянув перед собой, несла темнозеленый парадный сюртук, болтающиеся фалды которого были изъедены молью.

Через некоторое время в комнату, поскрипывая новыми ботинками, по бокам которых вставлена широкая черная резина, откуда вылезали пернатые ушки, в длинном сюртуке, с прицепленной шпагой, на которой болтался красненький темляк, разглаживая свою бороду, вошел отец.

— Ну, Зиночка, порадуй меня, старика — пойдем в собор.

Туго подтянув поясом шинель, набросив на плечи башлык — подарок Акульки, я расчесала на папахе мех и, пяток-другой покрутившись перед зеркалом, вышла с отцом на улицу.

Рядом с нами, костылями стуча о ступеньки церковной паперти, передвигался солдат. Две старушки в старомодных бархатных ротондах, выйдя из церкви, мелкими крестиками зачастили у груди. Нищие расступились перед нами, удивленные, как-то сразу опустили свои руки, протянутые за подаянием. Отец шел все вперед и вперед, ближе к клиросу.

В храме отбивались поклоны «за убиенных воинов», хор надрывался в бесконечном «господи, помилуй». Размахивая кадилом, прошел мимо нас дьякон. Косясь на меня одним глазом, он задержался возле чудотворной иконы и с необычайной яростью принялся раскачивать кадило. Наклонившись к отцу, я шепнула ему на ухо:

— Идем, мне надоело.

— Простоим, дочка, до херувимской, — попросил отец, приподымаясь с колен, и пододвинулся ко мне. На меня повеяло сильным запахом нафталина от отцовского сюртука.

Как никогда и нигде, мне вдруг стало тесно стоять здесь. Купольная громада собора, толпа молящихся давили меня своей тяжестью. Я потянула за руку отца и направилась к выходу. Отец, не-

довольный, что-то бурча под нос, раскачивал головой.

В дверях его остановил заведующий местным музеем — дряхлый Филипп Карлович Глин.

— Слыхали, Леонид Константинович, в Питере непорядки. При отправлении на фронт маршевики забастовали. Долой, — кричат, — войну. На Распутина покушение было. Вы подумайте, что творится! — зашептал Глин и, повернувшись лицом к собору, закрестился, приговаривая: — Спаси и помилуй, спаси и помилуй!

Поговорив еще с отцом о найденной на раскопках мамонтовой кости, музейной редкости, — Глин попрощался с нами.

У меня болел зуб. Нестерпимо ныл. Мы сели с отцом в извозчичьи сани и поехали к врачу. В конце Грузинской улицы нам пришлось вылезть из саней и пойти пешком.

На улице шум. Окруженная надзирателями, по дороге к Арскому полю двигалась толпа людей. Одни шли, кутаясь в серые халаты, другие раскрывали грудь, расстегнувшись нараспашку, и вытирали со лба пот, словно им было жарко, как в день июльской истомы. Некоторые из них низко пригибались, будто над их головой заносился огромный кулак. Боязливо озирались и, крадучись блудливой кошкой, продвигались вперед. Они глядели на прохожих, вытягивая шеи, приподымались на носках, высматривая кого-то... И то плакали,

словно обиженные дети, то неистово хохотали. А вот один из них, свернув немного в сторону, остановился на панели. Взор своих стеклянных глаз устремил на проходящую девушку, долго всматривался и вдруг, отпрянув от незнакомки, схватился руками за голову и с диким криком: «Это она, это жена, да минет вас, граждане, чаша сия!» — помчался обратно.

Сверкали глаза молодой женщины — ярко пылали ее щеки. Лицо улыбчиво-нежно. Крепко прижала к своей груди сверток грязных тряпок, мерно раскачивалась.

— Б-а-ю, бай, б-а-ю-ш-к-и, спи, усни, мой родной! — тихо лилась песня ее бархатного контральто.

Шла толпа безумных, эвакуированных из Варшавы в Казань.

Сзади в темных облупленных каретах везли буйно-помешанных. Оттуда изредка вырывался дикий вопль.

Толпа остановилась. Но ее вой не умолкал. Зажглись огни в окнах психиатрической больницы «скорбящей божьей матери». Распахнулись чугунные ворота.

Серые стены принимали новых гостей.

Вначале радостные дни после долгой разлуки с родными стали для меня теперь тревожно-заботливыми и . . . тоскливыми. Дома меня как-то раз-

дражала тишина нашей квартиры. Здесь все было попрежнему. Уютная квартира, кота-Алешки мурлыкание, заигрывание Тобика, шипение самовара, чирикание валькиных снигирей, у рояля — мать и полные грусти, нежные звуки вальсов и неизменной «Лесной сказки» — уплывали, уходили от меня. У меня были минуты, когда мне хотелось переставить здесь все по-иному, сдвинуть всю мебель, перевернуть стол вверх ногами, оборвать цветы герани.

Вечером, бросившись на свою кровать, я делилась с матерью своими переживаниями:

— Мама! Ну, пойми меня, мама, мама — пойми! Я не могу быть здесь, я не могу больше так жить! Я с вами, я с отцом, Валькой, с подругами, но вы ничего не знаете, вы теперь и свои и ужасно чужие. Вот, понимаешь, у меня одна нога здесь, а другая там...

И, громко разревевшись от досады, что не могу понять, что же в сущности случилось, я снова заговорила с матерью:

— Я... я не могу быть здесь. Мама, кто же я? Пойми — я лопнула, треснула. Мама, родная, пойми же, наконец, я лопнула, и неужели меня нельзя склеить?!

— Зиночка, Зина моя, да что ты говоришь такое? Господи, что же случилось с тобой? Ты теряешь рассудок, я позову доктора...

— Какая же, кто же я, наконец? — задавала

я себе тысячи вопросов и, не найдя ответа, заснула на мокрой от слез подушке.

Мы едва успевали с сестрой выбегать в переднюю на звонки. К родителям собрались гости. Учитель математики, сухая чопорная мадам Депрейс, начальница Родионовского института благородных девиц, и два-три акцизных чиновника. Поминутно прикладывая к глазам лорнет, начальница рассматривала меня.

— Ах, Леонид Константинович, ваша Зинаида была такой скромной, и вдруг... — вертясь на стуле, то опускаясь, то приподнимаясь, не переставала возмущаться она.

В коридоре зашаркала Алексевнушка, идя открывать дверь. Не снимая с себя шубы, в комнату вбежал Валерий Касьянович Кунев, товарищ прокурора.

— Извините, извините — я на минуточку. Какие новости! Распутина убили!

— Ч-т-о-о? — приподымаясь со своих мест, заговорили все на разные голоса.

— Конец российскому властителю, конец и наконец-то! — расправив свою грудь во всю ширь, опустился на стул акцизный чиновник.

— O tempora, o mores! — пробормотал учитель математики.

— Quelle horreur, quelle horreur! — закинув под потолок глаза, прикладывая тонкие пальцы к ви-

сками, зашептала Депрейс и, раскрыв свой ридикюль, вынула оттуда свернутый листок бумаги. — Вообразите, милейшие, на-днях мне преподнесли вот это стихотворение, найденное в дортуаре девиц. Какая вольность — чтение таких стихов! Подозреваю одну девицу, ее брат вольноопределяющийся, он еще младенец, и такая вольность! Ах, какие дети, какие дети!

Покровительница благородных девиц протянула свернутую в трубочку бумажку Куневу. Почесав переносицу, оправив пенснэ, товарищ прокурора читал:

В столице там —
Звон шпор
В дверях шантана,
А здесь, в окопах,
Будто вой
Свинцового шайтана
Там генерал
Красотку обнимает,
А здесь солдат
Чесотку матом покрывает.
Министры там
Карманы набивают,
А раны здесь народ
Слезою омывает.
В салонах там
Распутинский дебош,
А здесь, в окопах,
Всех одолевает вошь...

— Ого-го, стишок! Да, мои друзья, зародыши революции дали всюду ростки.

— Конечно, Валерий Касьянович, но это уж где хотите, но не в стенах моего института!

Чашка с кофе застыла, и, к ней не притронувшись, Кунев заторопился, целуя руки дам и прощаясь с мужчинами:

— Уж вы извините, Лидия Аркадьевна, но я в таком состоянии, в таком волнении, я побегу дальше.

Алексевнушка показалась в дверях и, топчась на месте, не решалась войти:

— Зинушка, барышня моя миленькая, тебя солдатик спрашивает.

Гости насторожились и удивленно смотрели то на меня, то на моих родителей.

Прибежав на кухню, я словно остолбенела.

На лавке, у алексевнушкиной кровати, перебирая в руках складки ситцевого полога, сидел заросший щетиной, осунувшийся Сашка.

— Проездом я, адресок ты мне свой дала, ну, думаю, дай зайду к ейной мамаше, а ты с обманством, Зина, говорила, в полку будешь, ан где повстречались.

Сашка стоял с растерянным видом, озирался вокруг, мял в руках папаху. Я бросилась к нему, обхватив его шею руками, закидала вопросами. Сашка крепко целовал меня своими яркими губами. Стоявшая сзади нас Алексевнушка не выдержала:

— Посрамись, Зинушка, что маменька-то скажут, ах ты, боже мой, царица небесная!

Я стянула с Сашки шинель, взяла его за руку и повела в столовую.

— Мама, это мой гость! Садись, Гусев.

Сашка поздоровался с домашними, подал руку Депрейс. Начальница протянула ему два пальца, и, не успел Сашка пожать ей руку, — Депрейс сунула пальцы под стол и вытерла их скатертью. Кунев снова опустился на стул. Валька угощала Гусева, заглядывая в его синие глаза. На несколько минут воцарилось молчание. Алексевнушка стояла у дверей комнаты, облокотясь о стенку, и, сложив руки на животе, быстро перебирала большими пальцами. Губы ее что-то шептали.

Молчание нарушил отец:

— С фронта или на фронт следуете?

— В отпуску находился. Теперь еду на фронт. С дочкой вашей вместе в окопах под австрийским огнем не раз сиживали.

— Скажите, пожалуйста, что у вас дома слышно? Что в деревнях говорят? Вы, очевидно, из деревни возвращаетесь, — подсаживаясь ближе к Гусеву, спросил товарищ прокурора.

— Да, так что, могу сказать, к тому идет — господ будем потрошить без замедления. На чорта войну затеяли, если она и вовсе народу не нужна? — ответил Сашка, уминая при этом за обе щеки ветчину.

— А вы что, солдатик, ренены были? Скажите — это, наверное, очень больно? — слащавым

голоском заговорила Депрейс, спрятав свой лорнет.

— Никак нет-с, в полном здравии нахожусь и доселе ранятым не был.

— Скажите, а правда Зиночка в разведке бывала под проволочными заграждениями немцев? — полюбопытствовала Валька.

— Так точно, милая барышня, без утайки сказать — ваша сестрица храбрость имеет и не раз под проволочные заграждения на брюхе ползала. Бывала в больших ужасах, а срамоты с ней, чтоб, — извините, милая барышня, попросту сказать, — страха — этого не было.

Депрейс заерзала на стуле. Гости засуетились и, торопливо прощаясь, вышли в переднюю.

Мы остались вдвоем с Сашкой.

— Зин, завтра вечером я еду. Времячко теперь горячее, на фронт мне ехать необходимо. Поручения от товарищей имею. Если уж так случилось, снова тебя повстречал — не раздумывай, Зина, едем со мной и там криком будем кричать, чтоб войну, так сказать, кончали. Не нужна она нам. Пускай баре дерутся. Завтра зайду к тебе, а сейчас за хлеб-соль спасибо. Пойду на ночевку в извозчичий трактир. Сестричка твоя — золото барышня. Мамаша симпатичные. А вот папаша малость хмуры, что они, в больших чинах ходят?

— Саш, останься у нас! Я подумаю, завтра скажу тебе.

— Ты мне сейчас говори. Чего мямлиться-то. Едем со мной, и у тебя дело будет. Сказываю тебе — время теперь горячее. Ты, Зина, боевая! — и, наклонившись над моим ухом, Сашка зашептал: — В деревнях, Зиночка, красный петух гуляет. В Питере рабочие гудят, порохом попахивает. Народ, Зина, зашевелился. Невмоготу стало засилье бар. Так сказать, уничтожить их надо. Гришку Распутина — соспальника царицы, верхокрута подлого, прошлой ночью убили. Началось, Зина. Идем со мной, и не время теперь в кисеях у маменьки сидеть.

— Я... я наверное поеду. Только дай, подумаю.

— Да не нюнься ты, чего думать-то? Все тебе сказал, враз и решай.

— Выпейте еще чайку, кушайте варение, — уговаривала Сашку вбежавшая Валька.

— Никак нет-с, премного вам благодарен. — Сашка встал и, прощаясь с моими родителями, сразу зашаркал обеими ногами.

— Дочку вашу проведал, теперь на ночлег пойду.

Валька уговаривала Гусева остаться у нас.

— Никак нет-с, не могу, земляки ожидают.

Сашка оделся, я пошла его проводить.

— Дай ответ, Зина, напоследок тебе говорю.

— Барышня, миленькая, закрой грудку-то, простудишься, ишь дверь-то распахнул! — Алексев-

нушка, косясь на Сашку, не уходила, держа в руках телогрейку.

— С характером старуха! Ну, иди — завтра буду.

В этот вечер до поздней ночи мать сидела возле меня.

— Мама, я хочу снова ехать в действующую армию, — не раздумывая долго, заявила я.

— Зинушка, моя родная, скажи, что тебе нужно, чего тебе не хватает? Не уезжай, родная! Отец и так едва перенес твой уход на позицию. Теперь опять это будет для него большим ударом. Не делай этого! Пожалей нас с отцом! Всем известно — мы накануне больших событий. Не сегодня-завтра вспыхнет пожар забастовок. Ну, куда ты поедешь? Ты погибнешь, погибнешь, Зина. Тебе нужно учиться, так и останешься неучем, что ж с тобой будет?

— Не проси меня, мама, я не могу здесь остаться. Я не знаю, что со мной будет, но я уеду, я уже говорила тебе, что я не могу тут быть.

— Ты не поедешь! Это невозможно! И скажи, не скрывай от меня — кто этот солдат? Не простой он тебе гость, Зина! Я видела, как ты на него смотрела. Скажи, кто он тебе?

— Это Сашка Гусев, Сашка — разведчик. Это моя любовь. Я его женой буду.

Мать побледнела и отбросила с колен мою руку.

— Зина, какая у тебя может быть любовь?

— Настоящая, мама, настоящая!

— Зина, сколько тебе лет, что ты говоришь, нас с отцом пожалей! И этот деревенский парень — он тебе не пара! Господи, до чего мы с отцом дожили!

Мать залилась горячими слезами. Сбежались домашние. Алексевнушка брызгала на мать воду из графина, отец и сестра суетились, прикладывая холодные компрессы к сердцу. А я . . . Может быть это было нехорошо, но только эти слезы, слезы моей матери, которые так трогали меня раньше, и эта истерика — все стало вдруг таким ненужным, лишним и смешным . . . У меня не было жалости к матери. Упреки Вальки, угрозы отца — все стало мне непонятным и лишним.

Захотелось остаться одной, наедине с своими мыслями. Я соскочила с кровати и умчалась в кабинет отца и, просидев там долгие часы, чуть забрезжил рассвет — оделась и вышла в сад.

За воротами проскрипели полозья крестьянских розвальней с дровами. Своим розовым блеском заря ласкала тощие спины лошадей, покрытых инеем. Крепкий морозный воздух захватывал дыхание и иголками щупалец впивался в щеки мороз. Старая наша беседка, где давно когда-то Валька шила куклам платья, а я строила конюшни своим деревянным лошадям — засыпана снегом. Развесистая елка свои махровые ветки склонила до

земли. Старый Тобик, прихрамывая на одну ногу, скуля носился от дерева к дереву.

Я вернулась домой, там все успокоилось сном. Алексевнушка похрапывала на кухне. Я пришла в свою комнату и не раздеваясь собрала вещи, сложила все в вещевой мешок — приготовилась к отъезду. Меня с неудержимой силой потянуло обратно в полк, туда, в ту большую семью.

— Ур-ра! — закричала я не своим голосом, прижимая к груди сумку Ерыги. — Ур-ра! я снова вас всех увижу!

За завтраком все сидели молча. Валька встала, засыпала корм снигирям, переменила воду. Не глядя в глаза друг другу, все встали и разбрелись по своим углам. Птицы щебетали, не умолкая ни на минуту.

Медленно тянулось время до прихода Сашки. Я слонялась из комнаты в комнату, меня то бросало в жар, то охватывало тряской озноба. На улице крутила метель. Завывая свистел ветер. По аллее сада смерчем завертелась снежная пыль. Но вот серая вуаль сумерек затянула окна...

Задребезжал звонок. Словно электрический ток пробежал к кончикам моих пальцев.

Стряхивая снег с шинели, Сашка весело заговорил:

— Сдается мне, согласна ты на отъезд, легкость у меня появилась на душе, как к тебе шел.

— У меня все готово. Ты побудь у нас недолго и уйди, а я вслед приду на вокзал.

— Добрый вечер! Очень хорошо сделали, что пришли к нам, — заговорил с Гусевым отец. — Когда на фронт едете?

— Да так что срок выходит сегодня. А вы где служить изволите? — спросил Гусев.

Отец пригласил его к себе в кабинет. Мы втроем направились туда. Для отца было любимым занятием показывать гостям коллекцию своих бабочек, находившуюся у него в огромных дубовых шкафах.

Гусев внимательно разглядывал редкие экземпляры чешуекрылых — гордость отцовской коллекции.

— Закурить не желаете ль?—предложил Сашка отцу папиросы «Цыганочка».

— Этих не курю. Предпочитаю трубку или сигары.

Гусев повертел в руках папиросную коробку, посмотрел на нее — спрятал в карман. Через минуту он снова достал ее и, пройдясь ногтем сбоку коробки, открыл папиросы и закурил.

— Пивка выпьете? — обратился отец к Сашке.

— С превеликим удовольствием, — и, заложив нога на ногу, Сашка расположился на диване.

— А чудно как! Каждая, говорите, тварь, козявка всякая, звание свое имеет?

— Да, каждая имеет свой паспорт, — и, взгля-

нув на гостя исподлобья, отец пододвинул ему стакан с пивом.

— А Распутина-то, вашблагородь, прихлопнули. Так думается, что недалеко то время, вся кампания эта прикроется. А вы как думаете насчет этого?

Кряхтя и отдуваясь, отец недовольно ответил:

— Я, знаете ли, политикой не интересуюсь, так больше по ученой части.

Встряхнув волосами, Сашка неожиданно выпалил:

— А как, вашблагородь, насчет вашей дочки? Сказать правду, с виду вы человек, так сказать, добрый, с понятием, так что не можете ли дать свое согласие отдать за меня Зину? Хочу на ней жениться, вместе на позицию поедем. Так говорю к тому, чтоб вас в курс дела ввести. Да вы не пужайтесь больно-то. Не велики страсти.

Заплясал стакан в руках отца, пиво по бороде расплескалось. Старик возмутился до крайности. Ударив по столу кулаком, он дрожащим голосом крикнул:

— Зинаиду мою оставьте в покое! Никуда она не поедет! Я вас хорошим человеком посчитал, а вы смутьян какой-то. Не пущу ее!

— Вашскородь, да вы уж не очень-то, того, на кипяток берите. Я так думал, с предупреждением к вам. Зина-то сама рассудит. Говори, чего молчишь? Покажи карактер свой.

Глаза отца смотрели на меня — слезились, а синие сашкины — огнем горели. Я молчала.

— Решай, Зин, в открытую.

— Ну да . . . я подумаю.

Сашка кивнул головой отцу и вышел.

Мне жаль было огорчать старика, хотя я твердо решила пойти за Сашкой. И то, что так просто казалось мне вчера — уйти из дома, теперь, когда надо было это сказать открыто, я не смогла, у меня не хватило на это смелости, мне легче было совершить свой поступок исподтишка. Уйду, а там . . . там, за дверьми, я уже не буду видеть страданий отца — так мне казалось легче . . .

В передней я догнала Сашку, остановила его:

— Минуточку обожди, Гусев, пойми, жаль старика.

— Тятька, Зина, один, а народу мильон. Ты мне голову не крути, миленькая — господской ты крови. Сиди дома. Вот тебе мои пять. Прощай!

Завыла дверь на пружине — захлопнулась.

Я вернулась в кабинет отца. Он сидел на диване, голова низко опустилась, глаза закрыты.

Я попятилась тихонько к двери. В столовой прошла мимо Алексевнушки, ковыряющейся над вязанием чулка. Валька и мать еще не вернулись от знакомых.

Не захватив с собой вещевого мешка, я быстро оделась и выбежала на улицу.

Ветер подхлестывал мою шинель. Ноги, словно

во сне, отказывались бежать — тонули в сугробах снега. Тусклый отблеск фонарей на дамбе искрил снег.

Сквозь крутанину метелицы, словно волчьи глаза, светились зажженные фонари в затоне Волги.

Мимо промчалась черная тройка. Громада кучера генерала Сандецкого отдаляясь стала едва видимым силуэтом . . .

Я не шла — бежала. И, словно черный колпак, железнодорожная будка становилась теперь все ясней и ясней. Казавшийся стоверстным переход мой окончился.

Вокзал. Перонная суета. Гудок паровоза. Печаль прощания — и снова мерный стук вагонных колес.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В Тарнополе, пройдя шумной привокзальной улицей, я пошла к этапному коменданту. Там, предъявив свои документы, я получила справку о приблизительном месторасположении частей девятнадцатой дивизии. Миновав площадь Яна Собесского, я направилась к вокзалу.

Ночь была утомительна. За длинный путь я нахваталась немало насекомых, смены белья не имела. Гвозди спинки дивана, пробиваясь сквозь драную клеенку, давили в голову. Веки отяжелели и от неудобного положения ныла шея.

А Сашки так и не было. Я не нашла его на Казанском вокзале, и тщетны были мои поиски здесь.

По дороге на Бучач двигался обоз, груженный тюками сена. Я подошла к старшему фуражиру и попросила разрешения сесть на повозку доехать до Монастержиска.

Примостившись возле ездового, я чувствовала, что замерзаю. Я буквально превращалась в сплошную льдину.

— Не доеду до штаба дивизии, не доберусь, — жалуюсь я солдату.

— Вот я тебе так посоветую. Полезай-ка ты сюда.

Разгребая тюк сена, ездовой указал мне на сделанное им отверстие. Забравшись в ямку, я начала согреваться. Солдат приподнялся, отогнул полы шубы, прикрыл ими дыру. У меня получилась нора с крышей.

— Ну, как? Если будет дыхание спирать — скажи. Я отдушину сделаю, — побеспокоился ездовой.

— Хорошо. Спасибо. Согреваюсь, — пропищала я из норы.

Задремала. Солдат пел. Пел возле меня, близко, а голос его казался отдаленным:

Изба кро-хотна
На до-ли-нуш-ке,
В ней Ду-ня-шка-краса

Пестит сына сво-го...
Свет-лый день про-шел
На зе-м-ле ро-са,
Гла-за Ду-нюш-ки
Все гля-дят в окно.
По до-ро-ж-ке пыль
Не по-ды-мет-ся,
Тя-ть-ка в зем-лю зарыт
Не от-кли-кне-тся...
Из-ба кро-хот-на
На до-ли-нуш-ке...

Голос оборвался. Подвода остановилась. Лошадь мочилась.

— Глянь! Зинка вернулась!

Ко мне подходил Трофим, а за ним Черешенко и Запорожец.

Словно я залпом выпила стакан содовой воды — заломило вдруг в переносице и подступили слезы. Каким-то потоком хлынули на меня все переживания последних дней. Вспомнился отец, мать, Валька и почему-то старый Тобик... и страшный мороз в дороге, и теперь вот эта встреча.

— П... при... е... ха... ла я, оп... я... ть при... еха... ла, — еле выговаривая, я вдруг разревелась.

Подошел Ерыга. Я посмотрела на его талию, по-обычному туго подтянутую ремнем. Он продвинулся ко мне.

— Зин, Зина, чего ревешь-то? Может, которую обиду над тобой учинили — скажи?

Ерыга погладил меня по щеке. Я не знаю почему, но от этой его ласки я, еще громче всхлипывая, рыдала.

Рявкнула один раз австрийская батарея, и у нас в первом взводе разрушило убежище. Там жил Василий Климыч, там забавлял всех своими шутками Черешенко. И вечерами в ней пел свои песни прибывший с последним пополнением Измаил Хабулин — дитя знойного Крыма.

Всех трех откапывали. Вот уже показалась огромная ступня Черешенко. На его грудь навалилась глыба земли. Голова чуть присыпана глиной. Черешенко стонет. Запорожец наклонился над своим другом.

— Це я, Петро, не узнаешь меня? Ты выживешь, Петро, ей-бо выживешь, — утешает тяжело раненного Запорожец, нервно теребя свой ус.

— Грицько, це ты? Чуешь, Грицько, як гарно спивають?

Черешенко замолчал, и Запорожец не услышал больше его голоса.

Лицо Измаила Хабулина — сплошная опухоль. Кровь разлилась под кожей. Один глаз смотрит, другой он силится открыть, моргает веком — глаз засорен землей. Измаил что-то шепчет. Я наклонилась и с трудом разобрала непонятные слова:

— Мукли . . . сэ, моя Мукли . . . сэ.

Ротный санитар громко называет его имя:

— Измаил!

Хабулин не отвечает.

— В ушах ему все поотбивало, — говорит санитар и прикладывает вату к ушам Измаила.

Климыч мертв. Его открытый рот забит землей. Из щеки торчит огромный осколок гранаты. Его рыжая борода заклеена кровяной кашицей. Терехин взял руки Климыча, сложил их на груди. Прикрыл труп шуршащей палаткой. Я не могла больше смотреть на этих трех, потянула за рукав Ерыгу, оттащила от землянки, и мы пошли с ним в роту. Впереди нас несли Климыча. За носилками с непокрытой головой шел Трофим.

Я долго ходила и, минуя одну роту, направлялась к другой. Не заметила, как прошла участок нашего полка, дальше уже начинались окопы севастопольцев. Я то замедляла ход, то ускоряла шаги. Перед моими глазами неотступно вырисовывалась огромная ступня Черешенко.

Невдалеке показалась воткнутая в землю лопата. Проходя мимо, я тронула ее рукой. Лопата упала. И вслед за ней к моим ногам шлепнулся обледенелый ком земли. Я испугалась грохота лопаты и бросилась бегом, трясясь от страха. Я ворвалась в блиндаж севастопольцев.

— А, здравствуй, — поздоровались со мной офицеры. — Да ты чего-то напугана. Чего испугалась? — спросил меня офицер и поставил на печку кружку с чаем.

Я все еще не могла притти в себя от обуявшего меня страха. Посидев немного, я успокоилась. Здесь пили чай и, прихлюпывая, медленно тянули в себя кипяток. Хрустели колотым сахаром и ели черный хлеб, густо посыпанный солью. Не знаю, почему, но эта картина мирного чаепития подействовала на меня чрезвычайно успокоительно. У меня наступила странная реакция — я сильно захотела есть. Попросила у офицеров хлеба. Офицеры нарезали чайную колбасу и предложили мне. Я ела не очищая шкурки. Не прожевывая больших кусков, глотала их целиком.

Внешность одного из сидящих здесь офицеров была мне знакома. Я его встречала во время какого-то похода. Из-под фуражки прапорщика, спускаясь к плечам, свисали белесые космы. Он ежеминутно хмурил брови и при этом вытягивал свою сухую длинную шею — всматривался в соседей, щуря глаза. Его большой тонкий нос чуть вздернут. Прапорщик, напившись чаю, вытер пот с затылка. На полотне платка остались следы его грязной шеи. Растянувшись на койке, он запел:

— Gaudeamus igitur . . .

— У нас тоже появился экземпляр вроде тебя. Я так полагал, что ты к ней пришла, — заговорил со мной пожилой офицер, сидевший в ногах прапорщика.

— Нет, я к вам забрела случайно. А где ваша доброволица?

— Анисов! — крикнул офицер.

— Так точно, ваш благородь, я Анисов.

На пороге появился солдат в прожженной на боку шинели. На его полном лице, словно изюминки в тесте — глаза. Рот его широко улыбается.

— Ну, ты, конечно, без упоминания своей почтенной фамилии не можешь обойтись. Чудак ты, Анисов!

— Так точно, ваш благородь, чудак Анисов.

— Ну так вот что, проводи-ка нашу гостью к пулеметчикам, там у нее есть знакомая. Понял?

— Понял Анисов, так точно, ваш благородь.

В помещении пулеметчиков тесно и душно.

Окруженная солдатами, на вязанке дров сидела доброволица Севастопольского полка. Увидев меня, высокая, грудастая, с полными бедрами женщина поднялась и протянула мне свою, с широкой ладонью, руку.

— Садись. Гостьей будешь, — сказала брюнетка.

Ее зрачки расширились и взгляд упал на мой крест. Яркие толстые губы улыбались.

— За что получила-то? За дело или так — по пустяку? — басовитым голосом спросила меня.

Мне был неприятен ее вопрос, и захотелось резко ей ответить, но я посмотрела на нее и робко сказала:

— Не знаю.

— А зачем на войну-то пошла? — снова спросила женщина и, наклонившись к земле, подобрала окурок и пересыпала из него махорку в клочок газеты.

Тут я решила не робеть и, вынув из кармана папиросы, предложила ей и сама закурила, сейчас же поперхнувшись.

— Потягиваешь? Ну что ж, потягивай. — Заложив нога за ногу, доброволица опять повторила свой вопрос: — Так зачем на войну-то пошла?

— Так.

— Это, значит, как — так? Это выходит, милая, так перетак...

Женщина выругалась. Солдаты засмеялись. Я стояла смущенная.

— Ну, да ты, Стешка, не очень-то! Чего зря задираешь. Она, сказывают, давно у ставропольцев и повсегда с ними в окопах сидит. Ты себя сначала покажи, — заступился за меня один из пулеметчиков.

Подбодренная им, я, растерявшаяся вначале перед этой развязной женщиной, почувствовала теперь свое преимущество и обратилась к ней:

— А вы, Стеша, стрелять умеете?

— Нет, не умею. Не велика беда, научусь. Да ты мне не выкай, — нисколько не смущаясь ответила Стеша.

— Ну, а скажи, зачем ты на войну пошла? — не унималась я и взглянула в ее карие глаза.

— Я пошла на войну, чтоб отомстить немцам за смерть своего любимого мужа Игнатия, — сказала Стеша и пододвинулась ближе к пулеметчику.

«Нет, — подумала я, — не затем ты сюда приехала. Не думай! я понимаю!»

Мне хотелось еще говорить с этой женщиной, но пулеметчики готовились ко сну, и я, попрощавшись с своей новой знакомой, отравилась в полк.

В роте мне не спалось. Я лежала на своей койке, смотрела на огонь в печке, и мне почему-то вспомнился один из походов. Мы уходили в резерв. В суровый день зимы впереди меня шел солдат. Солдат был в валенках, я шла сзади, и мне запомнился его рваный валенок, откуда виднелась красная пятка. У солдата, как видно, не было портянок, и во время привала он снял валенок, схватил руками свою ногу и стал греть ее дыханием, потом, обуваясь, все время приговаривал: «Ноженька моя бедная, ноженька!» И опять потянулись версты, и перед моими глазами снова торчала голая красная пятка солдата. С какой-то безысходно-тупой терпеливостью шел солдат, и потом в деревне на остановке, когда мимо проезжал бригадный командир в своих удобных санках под меховым одеялом — солдат в рваном валенке не встал во фронт генерал-майору[1]. Лошади остановились, бригадный вышел

---

[1] За известной полосой фронта вставать во фронт требовалось.

из саней и ударил солдата. Рядовой вынул носовой платок, приложил его к уху, с тем же выражением тупой терпеливости, сгорбившись, пошел в хату...

— О чем задумалась, Зин? — Трофим прервал мои думы, сел возле меня.

— Мне, Трофим, как-то не по себе, грустно чего-то. Очень грустно. Расскажи о Карпатах, помнишь, ты обещал.

Трофим снял сапоги, повесил на полено портянки. Обмотал ноги в свой шарф.

— Так вот, Зин. Стояли это мы в Мезалаборче, а потом снялись оттуда и пошли на новые позиции. И бьет герман по нас, кроет тяжелыми — чисто прямо засыпал. Вот там, Зин, и приключилась беда. Раненых оттуда никак нельзя было выносить. Ранило моего соседа, ноги ему перебило, лежит он без движения и все просит: «Вынесите меня да вынесите. Замерзну, говорит, тут. Прикончусь». А как его нести, вьюга тогда была и дорога не то сказать — дорога настоящая, а огромнейший скат, и есть по нему один ход маленькой тропиночкой, да и тот запорошило. Отволокли мы малость Семеныча и стали. Скат, Зинушка, на пять километров будет перед нами, глянешь туда — и зеньки от страха жмурются.

— А может, Трофим, вы не на ту дорогу попали? А как же кухни шли?

— Где там, кухни, Зин, — по сколько дней без горячей пищи сидели. Но, сказать тебе, спустили

мы его. Только тут опять горе — теперь его надо вверх волочить — другой дороги нет. Стали мы это с санитаром Колькой Филиным царабкаться вверх, а Семеныч-то за нами, за бичевки привязанный к поясам — волочится на носилках. Употели мы, что и мороз нам нипочем. Тяжко нам было с ним, но опять же разве хватит совести покинуть его, разве то по душе христианской? Ну, прямо без сил с ним оказались, что тут делать? Оглянулись, а Семеныч-то замерзает вовсе. За носилки руками не держится, только вцепился зубами в полотно. Мы остановились. Бичевка у санитара перетираться начала. Господи, Микола-мученик, как вспомню я про эту точку моей жизни — слов нет высказать. Семеныч-то опять одной рукой держится и говорит нам: «Братцы, идить себе сами, только просьба у меня к вам — прикончите меня. Стреляй, Терехин. Отразу смерть принять легше, чем такая мука». Что тут делать? Как грех на душу принять? А с остановки-то этой мы тоже начали промерзать. Санитар и говорит мне: «Все одно замерзает он — оставим его, а то и самим скоро будет конец».

— Что ж вы сделали, Трофим? Пристрелили?

— Нет, Зин. Семеныч-то, боле ни за что не держась — сам скатился в котловину. А мы тут и вовсе обомлели, начали царабкаться вверх, да быстрехонько так — без задержки. Только слышим, словно завыл какой зверь. Оглянулись, а в котло-

вине-то там — зверье. Волки возле Семеныча. Тут бы нам стрельбу открыть по волкам-то, чтоб не дать зверю глумиться над телом Семеныча, а мы от страха еще шибче принялись ползти. Вот грех-то какой, Зина. Разве его теперь замолишь? Ни в жисть не забуду я того хребта Карпатского! И сколько там народу погибло — не сказать! Спи, Зина!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром по окопам разнеслась весть о свержении царя. Трофим стоял у дверей землянки и, крестясь все время, говорил:

— Господи, что ж теперь будет? Царя-батюшку свергнули.

Ерыга чистил свои сапоги и, посмотрев на Трофима, сказал:

— Ну, чего ты причитаешь, что было — видели, а что будет, если не убьет, тоже поглядим.

— Добрый вам день! — у входа остановился Запорожец, через плечо у него была надета брезентовая сумка, он порылся в ней и среди пакетов нашел какое-то письмо и передал мне.

— На! Получай! Корпусной связной передал мне для тебя. Я теперь в штабе дивизии барином живу, неплохо в связных-то быть, только тоска меня берет — Черешенко нема.

Письмо от Сашки. Сердце стукнуло четко раз... два — и словно приостановилось.

Эх, Зиночка, милая — отыскалась! Хоть и много у меня сейчас забот, а через день-два я буду у вас. У меня, Зина, перед тобой вроде как неудобство какое — сманить тебя из дома сманил, а толку тебе никакого не дал. Я тебе очень, Зиночка, до сих пор преданный. Поцелуев шлю — не счесть.

Твой Александр Петрович Гусев — старший телефонист при штабе корпуса.

В землянку набилось много солдат. Несколько раз перечитав письмо и выучив его наизусть, я спрятала его в карман.

Не смолкая ни на минуту, говорили солдаты. Многие из них думали о том, что завтра же начнутся отпуска. Мечтали о доме, вспоминали свои деревни, семьи. Один солдат сказал:

— Я, ребята, так думаю, — теперь пища нам будет улучшена, потому как в нашем государстве было много расходов на царя. И на одежу ему, и на пищу всякую такую вкусную, и опять же, не без того — на катанья всякие и на вечеринки. Так дома, бывало, какой праздник в семействе—не без того— пятишка всегда выйдет на леденчики, пряники, ну и на водочку, колбасу. А ведь то — царь, одно слово царь, у него одних гостев за столом целая рота, а то и боле, повсегда сидит.

— А я так на свою смекалку прикидываю: недалеко теперь время и мир должны заключить, потому как Россия обеднела и ничаво хорошего доселе не было, то новая власть захочет свой показ дать перед народом, чтоб народ за нее стоял. Ну,

а для этого богатства и жизни хорошей человеческие руки понадобятся, и нас отсюда отзовут, вот, ей-богу, правду говорю!

Говорили долго и много, вспоминали своих жен, детей, и казалось, что вот завтра — и еще день и еще немного — они их увидят.

Шли дни. Отпусков не было. Пища не улучшалась. Попрежнему стояли у бойниц люди. И так же стонали раненые и прилипали к земле солдаты при вое снарядов.

Сбившись в кучку, освободившиеся от работы солдаты обсуждали новость, привезенную из тыла вернувшимся после ранения солдатом:

— Ты говоришь, ривалюция? О, ривалюция — это Давидка Шанский пояснял, что она за ривалюция. Теперь, ребята, народ будет свой голос подавать. Теперь, значит, все наше. Ривалюция — это, братцы, теперь будет мир. И теперь должны нас спрашивать: хотим — воюем, а хотим — нет. Во всем должны народ спрашивать. Поняли, какая это ривалюция?

— Что воевать или не воевать — это еще не известно, а вот так просили вам передать, чтоб оружия не бросали и чтоб все находились при винтовках.

— Зачем оружие, бросай винтовки! Бросай, и с тем до свидания. Не хотим воевать, не желам!

— Нет, ребята, сполняйте все так, по правде

сполняйте, как он говорит, мы тут мало всяки штуки знаем. Из тыла кто приезжает, братцы, из центров, вот тех, братцы, слушайте.

— Говори — товарыщ, а то «братцы»! Товарыщ — говори, так теперь полагается.

Снег таял. По утрам стояли туманы. Сырость пронизывала тело. Люди сушили у огня шинели, от которых шла испарина серого солдатского сукна. Кожа на сапогах оранжевого цвета, высыхая, коробилась. Сапоги с трудом натягивались на ноги.

Вода лилась, проникая во все скважины и щели землянок. Ночью, когда пришла вторая смена из караула, солдаты грели чай. Потянувшийся за кружкой Ерыга, увидев на своей койке спокойно сидящую жабу, отскочил от неожиданности в сторону.

— Ах ты, сука, сука и есть, чего зеньками хлопаешь, ишь где приют нашла!

Ерыга отстегнул свой ремень, замахнулся на жабу, потом, очевидно раздумав ее ударить — тихонько толкнул ее своей чайной ложкой. Коричнево-пятнастая сидела, не шелохнувшись.

— Сидишь, тебе от мокроты раздолье, а у меня кости болят.

— Трофим, ты чего задумался? — спросил Ерыга.

— Скука заела, в земле сижу, а по земле ску-

чаю. Теперь бы дома, — скоро время и пахать, а ты сиди тут сиднем, как припаянный. Скука меня берет, домой охота — тоска. Тошно мне здесь, эх и тошно...

Капли воды падали с потолка, ударяясь о раскаленную печку. Жабьим говором своим закричала пятнастая.

— Ну, вот вам велико дело — царя нет, — присаживаясь к Ерыге заговорил разведчик,—чего толку-то? Да никакого! Все как было, так и есть. А позиции-то какие сволочные, сегодня опять горячей не подвезут, ну и правда, что — сам ходил этой лощиной — невмочь коням итти. Вязнут в грязи. И сам идешь так: одну ногу за голенище вытянешь, другую вытягиваешь — и так все время, пока дошел до обоза, страсть, измучился. Видал по дороге-то их благородие капитана Крапивянского, говорит: «Товарищи, еще немного, и кончится война».

С каждым днем все больше и больше лысела занятая противником высота. По дорогам запестрели проталины. Над окопами вились стаи птиц. Острый мартовский ветер щекотал лицо. В ходах сообщения нельзя было пройти. Воды было по колено.

Уж много дней я работаю санитаром. Домой написала письмо:

Не беспокойтесь. Здорова. Всех целую. Валька! пришли посылку. Больше писать не могу, нет времени. Много работы.

Зина

— Зина, проберись в четвертый взвод, тебя зовут! — крикнул мне Ерыга, подшивающий свою гимнастерку, укорачивая ее чуть ли не до пупа.

— Ерыга, зачем ты носишь такие коротенькие гимнастерки? — поинтересовалась я.

— Как зачем? Да потому самому, так, на полный фасон! Иди, Зина, зовут тебя, слышишь?

Не доходя восьмой роты, где тяжелее всего было пробираться, навстречу мне, погруженный по пояс в воду, едва передвигался вестовой Кривдина. На его плечах, свесив коротенькие ноги, сидел полковник Кривдин. Солдат шел пригнув голову, руками держа полковничьи ноги. Где-то сзади меня послышался голос:

— Обмочи его, кинь, кинь, говорю, в воду!

Кривдин замотал своей черной головой, оглядываясь по сторонам.

Повернув в роту, я за земляным выступом увидела Крапивянского, он громко кричал:

— Обмочи его, дурень ты! Не иди дальше, стой! Об-мо-ч-и-и-и-и! — кричит Крапивянский вестовому Кривдина.

Окопы левого и правого флангов ставропольцев были расположены на несколько возвышенном месте. И оттуда во второй батальон, находящийся

в центре участка, — шло все таяние снегов. В некоторых местах уже затопило землянки. Солдаты переходили из одного убежища в другое. В нашем помещении людей набилось до отказа.

— Ну, слава тебе, господи, кубанцы идут на смену!

Эту радостную новость принес Ерыга, вернувшийся из околотка.

— Трофим, идем, их высокородь капитан Крапивянский приказали собраться в первой роте.

Мне нужно было взять у Наумыча бинты, иод, и я тоже пошла за ними.

До прихода смены оставались еще целые сутки. Под руководством Крапивянского делали запруду. Солдаты, подняв вверх руки, несли мешки, набитые землей, и лопаты.

У стыка, где уже кончался первый батальон и начинался второй, люди сбрасывали с себя груз. Заработали лопатами, набрасывая землю в проход. То же самое проделывали и на другом участке в четвертой роте. К вечеру была готова запруда. Беспрерывно в течение нескольких часов солдаты ведрами выкачивали из окопов воду. Передвижение по ходу сообщения стало легче.

К вечеру следующего дня, когда подходили на смену кубанцы, мы уже забрали все свои вещи из убежища и приготовились к выходу. Не успели мы перейти порога землянки, как откуда-то неожиданно хлынула вода. Вода устремилась по ходу

сообщения, заполняя окопы. Где-то раздавался голос Крапивянского:

— Чудаки, вот чудаки! Прорвали запруду! Запруду нашу прорвали!

И, когда мы шли, по пояс погруженные в воду, у какого-то солдата спали с ног сапоги. Он вскарабкался на траверс и сидел там с отчаянно-беспомощным видом. Не прошло и двух минут — его ранило. Никто не обращал на него внимания, каждый думал только о том, как бы поскорее выбраться отсюда самому.

Было уже совсем темно, когда мы вышли из окопов в лощину. Но и там было не легче. Размякшая глина засасывала ноги. Это был какой-то дикий марш полка. Словно по команде, люди наклонялись поочередно, то один, то другой сапог отрывали от грязи. Ночь была темная и люди, стукаясь друг о друга, неистово ругались, кроя матом все и вся, а вдогонку противник посылал пули по прекрасно пристрелянной им лощине.

Полк стоит на отдыхе. В хате, перебирая вещи, вестовой Крапивянского, передохнув немного, снова начал рассказывать о том, как он сегодня опять видел Дубело, шедшего к Галинке.

— Ну, каждый день тащит он и тащит до нее всякие тючки. И я сам видел, как он говорил Галинке: «Угощайся, говорит, это тебе от их высокоблагородия полковника Плахова. Девка, переспи

с ним ночку, не упрямься, обдарит он тебя». А Галинка ему и отвечает: «Не пойду я, отстаньте вы от меня! Чего увязались?» Дубело только из хаты вышел, а полюбовник галинкин, Колька-то Ушатин, и идет.

— А ты бы доложил их высокородию капитану Крапивянскому, как командир полка девок отбивает у солдат.

— Все сказал, уже все доложил.

Денщики замолчали. С улицы вдруг разнесся страшный крик:

— Высечь велю! Не тронь ее, не тронь, говорю тебе! Отпусти, сукин сын!

Мы выскочили на крыльцо. Дубело тащил за руку упиравшуюся Галинку, дивчина плакала и одной рукой душила себя за горло.

Капитан Крапивянский кричал:

— Ах ты, мерзавец, отпусти ее!

Дивчина упала на колени. Дубело не оставлял девушки. Прибежавшие солдаты стояли, смотрели на капитана и словно ожидали от него приказания. Прибежал денщик Плахова и крикнул капитану:

— Ваш благородь, вас командир полка к себе требуют.

— Ну, пошла теперь, поехала, заварилася каша, — сказал денщик Крапивянского. — Ты, Зина, как завечереет, беги к квартире командира полка, встань на дыбки у окна и послушай, что они будут говорить. Интерес. Согласна?

— Пойду, непременно пойду, — ответила я и пошла вместе с денщиком.

Свечерело. Я стала у окна командира и только одним глазом смотрела, только одним ухом подслушивала. Глаз пришлось косить, плохо было видно. Приблизиться к окну и глядеть прямо не представлялось возможным. Пока я пристраивалась, прошло несколько минут, очевидно там, в квартире, уже о чем-то говорили. Я расслышала слова Плахова:

— Вы, молодой капитан, вы хоть и заслуженный, но как вы смели грозить моему полицейскому? Как вы смели?

Вижу — командир полка надвигается на капитана, капитан, чуть отступя, взялся за эфес шашки. Плахов наступает на него и снова кричит:

— Вы, молодой капитан, вы не имели права, вы не смеете!

Крапивянский, держась за эфес, слегка вытащил клинок. Полковник немедленно начал отступать назад. Капитан говорит:

— В чем дело, господин полковник? В чем дело? Я вас спрашиваю, объясните.

Плахов, красный как кумач, затряс своей козлиной бородкой и прислонился к столу:

— Отвечайте, капитан, какое вы имели право, как вы смели?

Капитан опять обращается к полковнику:

— Господин полковник, я не понимаю — в чем

дело? Скажите мне, в чём дело? За что я мог угрожать полицейскому, вы скажите сами? Я ему угрожал, но за что?

— Я вас, капитан, под арест посажу, как вы смели! — кричит Плахов, уклоняясь от вопроса капитана.

Я отстранилась от стекла передохнуть. Стукнула дверь. Как видно, вышел капитан. Я подбежала к дверям, Крапивянский сходил со ступенек крыльца. Ему навстречу шел безрукий Мельников.

— Ну, ты подумай, Сергей, ну, ты подумай, у него не хватило храбрости сказать, в чем дело, заявить о своем гнусном поступке! Ни полусловом не промолвился, как он девок отбивает у солдат! Хоть бы намекнул, сукин сын! Стыдно ему!

— Здорово, Николай, здорово! Пропек, говоришь, он тебя? — смеялся Мельников и, взяв под руку капитана, завернул в переулок.

Окончив свою миссию, я вернулась к денщикам и передала весь разговор Плахова и капитана. На следующий день мы узнали об аресте Крапивянского, и в полку все знали про случай с Галинкой.

Вечером солдаты, собравшись возле разрушенной церковной ограды, отплясывали под аккомпанемент ерыгинской балалайки. Галинка павой вышла в средину круга. За ней, чуть приподняв одно плечо, как-то бочком да бочком, притопывая одной ногой, выступал ее ухажор — ефрейтор пер-

вой роты Колька Ушатин. Галинка кружась смеется — косой хлещет на ходу кавалера.

Какой странный день! Ни наши, ни австрийцы не стреляют. Выстрелы раздаются только на левом фланге крымцев. А у нас — тишина. Солдаты ходят по верху траверса. В четвертой роте сидят австрийцы. Один из них угощает Ерыгу и Трофима ромом. Трофим хлебнул глоток и улыбаясь провел рукой по своим усам.

— Сладкий. Хорош. Спасибо.

Ерыга протянул руку за сигарой. Австриец отгрыз кончик сигары и дал ее Ерыге. Тот потянулся и закашлялся.

— Крепкая. Ух, до чорта крепкая!

Австрийцы смеялись, но в их смехе не чувствовалось насмешки над неумением Ерыги курить сигару, они смеялись искренне, показывали пальцами на ерыгину талию и, делая большим и указательным пальцем маленький-маленький кружочек, говорили:

— Wie ein Weingläschen [1]!

Толстый австриец вынул газету и дал ее Ерыге. В ней на русском языке было напечатано: «Солдаты, читайте все». Дальше говорилось о том, чтобы солдаты бросали оружие и расходились по домам. Ерыга взял газету и положил ее под фу-

---

[1] Как рюмочка!

ражку. Австрийцы угостили меня шоколадом. Они буквально не сводили с меня глаз. Мне очень понравился высокий, стройный немец. Мне не хотелось, чтоб они уходили от нас. Я предложила немцу большую краюху хлеба, он не взял ее у меня, а как-то вырвал из рук. Долго ее рассматривал, а потом спрятал в сумку и затем взял мою руку, поцеловал в ладонь, вынул из бокового кармана свою карточку и подарил ее мне. Он поцеловал мне руку.

Гости ушли, и я долго смотрела в их сторону. Разорвавшийся в нескольких шагах от уходящих бризантный снаряд заставил меня быстро укрыться в убежище. Вдогонку послышалась брань полковника Кривдина:

— Безобразие! Это чорт знает что такое — брататься! Разойтись по местам немедленно!

Очень часто, чуть ли не ежедневно появлялись у нас в окопах то тут, то там австрийцы. Наши солдаты тоже ходили к ним. Мне очень хотелось побывать у австрийцев. И наконец, мне это тоже удалось.

Был такой ясный теплый весенний день. Мы с Ерыгой двинулись в сторону австрийских траншей, а слева от нас тоже пробиралась группа солдат.

В прекрасно оборудованном блиндаже сидели три австрийца, а четвертый, пожилой немец, наклонившись над настоящим эмалированным умываль-

ником, мылил свое лицо. Он долго умывался, потом достал чистое мохнатое полотенце, вытерся им и побрызгал на себя одеколоном. Обернувшись к нам, взгляд его остановился на мне. Как могла, я объяснила ему, что пришла к ним в гости со своим товарищем. Толстый немец, покрутив густые и по-вильгельмовски закрученные усы, подсел ко мне. Объясняться с ним мне было очень трудно.

На секунду замолчав, немец бросился к своему ранцу, достал оттуда тщательно завернутый в кусок фланели маленький фотографический аппарат и попросил меня выйти на минуту из блиндажа. Ерыга вопросительно взглянул на меня черными глазами и скривил обиженную гримасу. Я потянула его за руку, и мы втроем вышли в очень высокий и узкий ход сообщения. Там немец указал места, где нам стать. Ерыга вытянул руки по швам, одернув коротенькую гимнастерку и подтянувшись ремнем, поднял голову вверх. Немец посмотрел на него — улыбнулся. Щелкнув затвором, он поблагодарил нас, а потом снова зарядил аппарат. Я прислонилась к стенке хода сообщения и, приняв кокетливую позу, взглянула на немца.

Бух, бух... жжждзззинь! Открылась стрельба, разрывались снаряды. Мы растерянно смотрели с Ерыгой друг на друга, но нам не было страшно. Я поглядела еще на Ерыгу, он на меня, и оба мы громко рассмеялись.

— Зина, что ж теперь делать? А если атака

будет, что ж делать-то? А может быть все, потому самому война-то ведь не кончилась. Бежим скорее, Зина! А что если тут останемся? Вот беда — а как же домой тогда? Как же я домой в деревню попаду? — уже с тревогой в голосе заговорил Ерыга.

Австрийцы позвали нас укрыться в блиндаж, а толстый немец сказал:

— Это все скоро кончится.

Нам пришлось высидеть у австрийцев несколько часов, потом, проходя по окопам, я рассматривала стоящих у бойниц людей, но к сожалению того, кого я искала, не было. Толстый немец, заметив, что я словно кого-то ищу, спросил меня:

— Suchen Sie Jemanden[1]?

— Да, — ответила я и, вытащив из кармана карточку, подаренную мне, не выпуская ее из рук, показала немцу.

— A!.. Kohgler! Er ging nach Ihre Richtung, war verwundet und ewakuirt[2].

Но отчего же так случилось? Почему я не взяла его адрес? А может быть он сам вспомнил об этом и хотел мне передать? Ведь никогда, наверное, никогда я больше с ним не увижусь!

Жжах! — разорвалась шрапнель над тран-

---

[1] Вы кого-то ищете?

[2] A!.. Kohgler! Он пошел в вашу сторону, был ранен и ночью эвакуирован в тыл.

шеями. Мы заторопились с Ерыгой и, делая перебежки, устремились к нашим окопам.

Ставропольцы после длительных переходов заняли позицию в районе Станиславова.

Яркое весеннее солнце и легкий ветерок высушил и землю. Природа зазеленела.

На просторном костельном дворе были сдвинуты многочисленные столы. Из школы принесены скамейки. Столы сервированы посудой ксендза. Искристое вино, привезенное из Станиславова, различных оттенков ликер украшали стол, уставленный жертвами острого кухонного ножа повара Сеньки.

Прозванный кем-то «Малюта Скуратов» командир полка Плахов, опершись на свою весьма знакомую солдатам толстую дубину с острым железным наконечником, оглаживая козлиную бородку, пригласил господ офицеров к столу.

Офицеры удовлетворяли разыгравшийся аппетит хрустящими под зубами, подрумяненными шкурками поросят.

Наполнились стаканы, рюмки. Произносились речи, провозглашались тосты. Пили за здоровье министров Временного правительства и военного министра Керенского. Туш полкового оркестра заглушался громкими криками: «Ура доблестному офицерству русской армии!» Лилось вино и за здоровье «героя-полковника» Плахова.

На табуретке, пододвинутой к углу стола, не боясь быть «семь лет без взаимности», сидел временный председатель полкового комитета, солдат Деревянченко.

— Слово предоставляется Деревянченко, — прогнусавил и, с плохо сдерживаемой злобой воткнув свой посох в землю, грузно опустился на свое место Плахов.

Деревянченко встал.

— У меня имеется один вопрос к присутствующим здесь. Тут произносились тосты, говорили речи. Все это я слышал. А почему господа офицеры не крикнут громкое ура полковым комитетам?

Деревянченко вытер пот со лба и сел на прежнее место. Никто ему не отвечал. Все молчали.

Нагрузив мою сумку медикаментами, я вышла на улицу и направилась в окопы. По дороге вспомнив о забытой банке с иодом, я вернулась в свою квартиру, искала банку. Уже стемнело, и я решила здесь заночевать.

В комнате тускло горела лампа. На стекле бумажная заплата с коричневым обгаром. Стены рябили множеством открыток, из-под которых выползали клопы. На комоде стояла фотография женщины, вставленная в рамку из мелких ракушек. Я всматривалась в карточку, в красивые, с миндалевидным разрезом глаза красавицы.

На улице грохотала по мостовой артиллерия. Уже несколько дней под ряд с утра и до вечера двигались тяжелые и легкие батареи. Подвозилось огромное количество снарядов в станиславовском направлении. Все говорили о готовящемся грандиозном наступлении. Жители рассказывали, что они никогда за всю войну не видели столько «грамат». Сегодня днем я видела на Сапежинской улице гарцующий полк Дикой дивизии. Приехавший из штаба дивизии связной привез новость: со дня на день в район наших позиций ждут приезда Керенского. Говорили, что он будет выступать на митинге в Станиславове. Мне было любопытно увидеть Керенского, о котором я много слышала, и я уже раздумывала, не остаться ли мне еще два дня в Станиславове.

Крик. В комнату вбежала девушка. Ее иссиня-черные волосы растрепались. Хозяйская дочь, возвращаясь окраиной неосвещенного города, натолкнулась на офицера Дикой дивизии. Девушка рассказывала, как ее схватил офицер и, повалив девушку под забор — изнасиловал. Красавица Рухля дрожала от рыданий.

На пороге, у распахнувшейся двери, в слезах стеная, билась старуха мать. Из соседней комнаты доносился старческий шопот молитвы. Тик-так, тик-так — отбивали стенные часы. На крыше стучала жесть, и там дико мяукали кошки.

На табуретке стоял окруженный солдатами капитан Крапивянский.

— Я уже вам сказал, что наша задача — проверять действия командного состава. И мы должны требовать у правительства скорейшего заключения мира. Я кончаю говорить. Да здравствует мир, долой войну! Ура!

— Ур-ра! — подхватили сотни голосов.

Ставропольцы все время со вниманием слушали капитана. Когда он сошел с табуретки, они окружили его и наперебой спрашивали:

— Отпуска разрешат? Сколько человек поедет в Питер делегатами? А может лучше Ваську Хорявина послать? А может пускай сам их благородие едут? — говорили солдаты.

Капитану едва удалось освободиться, и он направился в сельскую школу. К нему подошел Мельников:

— Видишь, Сергей, здорово солдаты откликнулись на полковые комитеты. Теперь, надо полагать, картина для них ясна. О, вот если бы сейчас вернулся Замбор — взяли бы его ребята на мушку!

Над городом кружился, то взбираясь ввысь, то снова низко опускаясь, германский аэроплан.

Где-то вдали раздался орудийный выстрел. Высоко над аэропланом разорвалась шрапнель. И снова выстрел. Теперь ниже. Серая «птица» как бы взмахнула крылом и забрала влево, взяв направление к улице «третьего мая». Опять разо-

рвался снаряд и за ним последовал батарейный залп.

Я стояла на балконе двухэтажного дома, где помещался дивизионный лазарет. Рядом со мной, напряженно глядя в мичволодовский бинокль, грузинка сестра восторгалась метким попаданием артиллеристов.

— Смотрите-ка, смотрите, еще залп — и его сшибут вверх тормашками!

И залп раздался.

Мгновенный судорожный толчок машины — и в воздухе огненный клубок.

— Ну, чего же вы стоите? Идемте смотреть, — говорит сестра.

Изящная грузинка, подобрав свою длинную юбку, помчалась по лестнице. С балкона я увидела, как промелькнула, скрываясь за угол, ее белоснежная косынка.

Я долго еще стояла на балконе, и виденный мною несколько часов тому назад огненный клубок разростался в сплошную кровавую массу, а голубое, безоблачное небо казалось мне багрово-красным.

Вечер. Ни шороха. Ни шелеста ветра. Тихо.

Они стояли у плетня. Парню было девятнадцать лет, а ей, румяной, шестнадцать. Над их головами, в лучах заката играя, золотилась юная пыль.

Осторожно, едва касаясь ступней земли, я прошла мимо. Голову мою кружил дурман весны. Там, в саду, у вишни, утопавшей в цветах, ждал меня Сашка.

— Здравствуй, пришла я!

— Зина, голубушка!

Сашка крепко обнял меня. Горячо целовались.

В вечернем часе, расправив свои крылья, прочертила узором летучая мышь. Земля покрылась холодной росой. Где-то вдали заливаясь квакали лягушки.

Заголубел нежный цветень сада. Ушла ночь. С улицы доносилось громкое пение:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе!
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Сашка поднял с земли фуражку, из нее выпала газета с надписью «Окопная правда». Мы покинули сад.

Ночь. Изредка щелкают затворы. По фронту шарит прожектор. Слышны голоса. Говор не приглушенный, как раньше, — говорят громко. По ходу сообщения не слышно звона шпор. Не проходит офицер. Три солдата сидят на клочке соломы. Четвертый поднимается с земли:

— Так значит, ребята, и заявляем комитету: кончай войну — и все тут. Нечего больше крас-

ным словом голову крутить! Один тут сказ! Поняли, ребята?

Сашка, приподняв и оправив наброшенную на плечи шинель, на которой у него был прицеплен огромных размеров красный бант, начал говорить:

— Товарищи! Воевать еще придется. Там у нас, в глубоком тылу, враг наш имеется, так сказать, не маленький, товарищи. Никто не бросайте оружия, с оружием идите по домам. И надо требовать еще немедленно от полковых комитетов, чтобы слали правительству одну депешу наперед другой — с просьбой кончать войну. Товарищи! Долой войну — это, так сказать, не штука. Теперь, товарищи, у нас, так сказать, другой фронт — против буржуазии. Помните, товарищи, оружие должно находиться при вас. Поняли, товарищи, о чем я, так сказать, речь держал? Я кончил. Ура не кричу — потому здесь окопы.

— Правду говоришь! Понятно! Говори еще!

— Теперь я буду слово держать! — выскочив на середину, заявил Ерыга.

— Говори, говори!

— Товарищи! Прошу внимательствовать! Надо подать заявление в комитет про полковника Плахова. Довольно мы от него муки вынесли! Довольно! Требовать обкоротить его руки, потому самому кулаки его беспощадные. Довольно! Подавайте скорее заявление капитану Крапивянскому — долой Плахова, потому самому довольно!

Какое имеете со мной согласие, держите ответ. Довольно! Я кончил!

— Правильно! Довольно! Гусев, пиши заявление!

Голоса не умолкают. Светает.

Ливень. Переход был очень тяжелый. Я промокла и устала.

Весь вечер молится моя хозяйка. Она поднимается с колен, поправляет фитиль лампадки и продолжает отбивать поклоны. Ее сын умирает. К старухе пришла знахарка. Она уселась на скамейку и принялась утешать старуху.

— Ни. Ничого не поможе. Така с ним горячка, така горячка, — жалуется старуха.

Знахарка развязала носовой платок, вынула оттуда высушенные травы, растерла их в руке и положила немного больному под сорочку, остальные взяла в рот, пожевала их и, подняв огромнейший зоб больного, выплюнула туда коричневатую кашицу. Старухи пошептались и вышли на улицу.

Дождь крупными каплями хлещет по стеклу. Свет лампадки падает на потолок. Тень круга становится все меньше и меньше. Калека хрипит, хрип мешает мне уснуть. Старуха прислушивается к хрипу, и, если больной затихает, она тревожно оглядывается на сына.

Я лежу, начинаю дремать, но уснуть я не в состоянии. Хрип продолжается. Уйти в сарай я не

могу, он разбит, на улице льет дождь. Старуха, не умолкая, шепчет что-то, умирающий стонет. Завтра снова поход. Я хочу спать — больной раздражает.

— Я хочу спать, дайте мне уснуть! Замолчите!

Это я сказала, это я крикнула — и вдруг испугалась своих слов. Что же я говорю? Ведь старуха, слушая хрип своего сына, еще надеется на его выздоровление. Он замолкает — по ее лицу текут слезы, трясутся руки, перебирая бахрому старенького черного платка, она вся настораживается и в тревоге склоняется над своим ребенком. Он стонет — и у матери теплится снова надежда. А я? Я хочу, чтоб было тихо. Мне становится страшно, я боюсь, и мгновенно мне делается жаль себя. А откуда-то изнутри чей-то голос твердит: «Ты перестала быть человеком, ты зверь!» Я схватываю свою подушку, зарываюсь в нее головой и вижу себя маленькой, маленькой девочкой... но опять назойливый голос твердит: «Нет, ты не та, ты не такая, ты зверь!» Я в отчаянии кусаю подушку, голову сверлит сознание потери чего-то детского, светлого, хорошего и уж никогда невозвратимого.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Это было в полдень. Выстроившееся карре солдат напряженно ожидало приезда военного министра.

Шум мотора. Машина остановилась на Сапежинской улице. По городу разнеслось громкое ура.

Керенский, заложив одну руку назад, другой облокотившись на трибуну, начал говорить. Говорил он долго. Долго уверял солдат, что готовящееся наступление будет последним. Он поражался бодрым состоянием войск, называя солдат орлами. Керенский говорил еще о своей и Временного правительства уверенности в победе русских войск.

— И, одержав эту победу, мы будем близки к миру . . .

Многие солдаты стояли, слушая военного министра, разинув рты. Я отчетливо видела перед собой физиономию одного солдата, не успевающего подбирать катящуюся из его рта слюну. И, когда словами «Тыл не отстанет от вас, тыл также с вами» — закончил свою речь Керенский, этот рядовой, быстро протиснувшись вперед, бросился к ногам министра. Я сидела на заборе, мне было видно, как отливали в июньском солнце новенькие краги Керенского и как, обвивая руками, лобызал их худенький солдат с тремя Георгиями на груди и истерично выкрикивал:

— Голубчик! Неужли ты за нас? Неужли это последние атаки? Да неужли ж будет мир?

После речи военного министра говорил Брусилов. Лицо генерала, с глубокой складкой на лбу, было необычайно бледно. Начало его речи солдаты встретили громовым ура. Брусилов говорил

недолго, сказал только о том, что ему больно и тяжело потерять веру в сильную могучую русскую армию. Последние слова Брусилова солдаты заглушили перекатным ура. Стоящий возле меня Мельников шепнул Крапивянскому:

— Сейчас наверное начнет говорить Альберт Тома, послушаем француза.

Но Мельников ошибся — больше никто и ничего не говорил.

Машина военного министра и его свиты отбыла, подняв столб пыли.

Солдаты все еще стояли и смотрели вслед отъезжающим. На их лицах было какое-то странно-недоуменное выражение, словно им чего-то не договорили. Один из солдат спросил другого:

— А чего это министр ничего нам от заводов не передал? Наш председатель говорил, будто есть совет солдатских и рабочих депутаций, а министр ничего и не пояснил о них, может это вовсе и неправда? Требовать, чтоб пояснение дали!

И подходил день штурма. День 18 июня.

Был какой-то сплошной гул и беспрерывный грохот в течение нескольких дней. Наша артиллерия забила размеренными ударами из тяжелых батарей. С рассветом открыли беглый огонь по окопам противника из трехдюймовых. Вслед заухали мортирки. Над головами в страшном гудении проносились тяжелые снаряды. Треск, гро-

хот, вой и гул гигантов — все слилось в зловещее урчание. В воздухе раскатывалась бесперебойная дробь чугунного барабана. В шуме хаотических звуков голос человека был заглушенно-тих, словно он вырывался из глубоких недр земли. Вправо от нас, против позиции заамурцев, торчало два дерева, и как-то странно было видеть их нетронутыми. Кругом них рвались снаряды, попадая в неприятельские линии, разрывали там на клочки людей. И вот вновь разорвавшийся снаряд — деревья попрежнему назойливо торчат.

Могучий рев орудий. Бушует пламень взрывов. На правом фланге горит деревня Ямница. Небо окутано ярким заревом. И вот на один момент, на какой-то непонятный миг, только на один миг — замолкли, словно сговорившись, орудия и снова с утроенной силой раздался потрясающий удар, один удар — и словно вся эта невидимая мощь застыла в последнем аккорде...

Они бежали туда, вперед, с безумно-застывшими лицами. Полилась бешеная слюна свинца из горла разгоряченных пулеметов. Бежали. Никто не останавливался. Навстречу двигались другие и... не было лиц.

Надвигалась, искривленная ужасом смерти, одна темная маска.

Удар. Лязг стали. Брызги крови, и в мучительном терзании звериной боли застонал люд.

Скрежет зубов и тихий плач.

Вот он, человек, вот тут, близко, возле меня, корчится в судорогах.

Тело извивается... Человек бьется головой о землю. Он измучен и в последнем усилии добивает себя. Сознание пронизывает мозг человека — у него одна мысль: скорее бы конец. Бьется голова... Иссякли, ушли силы—он беспомощен. Тело дергается в конвульсиях. В леденящем ужасе застыли глаза. Он, этот человек, надрывается в хрипе и со сгустками крови выбрасывает два слова:

— И-с-п-и-т-ь... м-и-р...

У меня в фляжке есть вода. Один, может быть, два глотка... Я делаю движение в сторону человека... подо мной содрогается почва, летят комья земли, над головой что-то продребезжало, и я, боясь даже чуть шевельнуть веками, попрежнему смотрю в одну точку. Зашипел над головой снаряд... жжжах... дзззинь... я впиваюсь в землю, глаза мои ширятся и видят перед собой человека, его раскрытый рот и у горла окровавленную дистанционную трубку... Секунду, всего лишь секунду назад этот человек метался в агонии. Он умирал, тело уже было мертво и теперь его дважды убило. Он захлебнулся в своей крови. И его последние два слова: — «испить... мир» — сверлили мой мозг, и здесь, в эти минуты, возле этого истерзанного трупа — страшной жуткой иронией отдавало от этого слова м и р...

Кто-то промчался мимо, пробежав несколько шагов, взметнул руками и грохнулся оземь. Снаряды начали падать дальше, впереди. Откуда-то выросла толпа австрийцев и, безоружная, странными прыжками устремились в наш тыл. А вот еще и еще, снова бегут, сбивают с ног друг друга, топчут раненых. Там, далеко, влево бьет Максимка, и на участке беспрерывные вспышки взрывов белыми клубами застилают небольшой лесок. Ставропольцы уже далеко впереди. На позиции заамурцев движутся сине-серые колонны. Все чаще и чаще показываются над колонной разрывы шрапнелей — это австрийские батареи бьют по своим сдающимся в плен солдатам. Перелет... снаряды стали падать снова на наш участок.

— Са-ни-тара... — кричит раненый.

Он сидит широко расставив ноги, густые капли крови падают на его колени и, не расплываясь, сбегают на землю. Я вскакиваю, сбрасываю с себя санитарную сумку, освобождаюсь от груза, обхватив голову руками, мчусь отсюда. Пробегаю мимо раненого, меня кто-то окрикивает, но я безудержно мчусь дальше. Я не могу больше здесь находиться и, не видя перед собой никого, бегу. Ноги спотыкаются, наталкиваюсь на убитых и покалеченных людей. Я наступила кому-то на руку, слышу посланное мне вдогонку проклятье... я прибавляю все больше и больше ходу и несусь в тыл. Это было, может быть, позорное бегство —

бежать отсюда, бежать, когда кругом умирают люди и просят помощи... В нескольких шагах осколком убивает солдата, это действует на меня подхлестывающе, и я снова бегу, не отдавая отчета перед своей совестью. Резервные окопы. И здесь всюду лежат истерзанные тела. Меня хватают за руку, останавливают, я вырываюсь, и продолжается мое постыдное бегство.

Я немного опомнилась на дороге, услышав шум машин. Шли броневики. На их подножках с развернутыми красными знаменами стояли солдаты-ударники. У них на рукавах расшитые серебром и золотом шевроны — черепа и кости. Увидев эти знаки, я вновь шарахаюсь в сторону и бегу к деревне.

Здесь, в деревне Подпечары, в хате завывает старуха, причитая над убитым теленком. Просидев долгое время на скамейке, я вышла на улицу. Теперь уже где-то далеко слышались глухие раскаты орудий. Лунная ночь — и вдали зарево пожаров фиолетовым отблеском падает на маленькие домики. Я шла, но куда и к кому шла, не знала. Так, просто, бесцельно передвигала ногами. Вот в этой хате огонь, в окно я вижу, как двигаются люди в халатах, они то исчезают — и их не видно совершенно, то вновь появляются. Там наверное на полу лежат раненые. Там не успевают накладывать перевязки врачи и фельдшера, а я прохожу мимо, сворачиваю за домик. Из дверей вышли

те же люди в белых халатах, в руках у них большой таз, они вдвоем несут что-то, прикрытое белым. Ушли в сторону огорода и снова вернулись. Один из них идет, размахивая пустым тазом.

Я села у плетня. Лицо ласкает теплый ветер. Мне хочется спать. Очень хочется спать, смыкаются веки. Забытье... Вскрик... Меня всю передергивает. Крик оттуда, из хаты. Там ведь раненые. Я поднимаюсь и ухожу дальше, туда, в сторону огорода. Руки виснут от какой-то непосильной тяжести. Трудно держать на плечах голову, она свисает на бок. Ноги делаются непослушными. Плетусь медленно, медленно. Зарычала собака. Чего она рычит? Сад караулит? Но зачем это нужно, кому нужен этот сад? Собака рычит. Может укусить! Пусть кусает... И опять думается: «Нет, не укусит, только надо итти смелее, а ты идешь — едва передвигаешься, и получается шорох, а собаки не любят такого шороха. Иди смелее». Теперь иду быстро, напрягая силы. Вот уже спуск к саду. Я подхожу к канаве, поросшей бурьяном. Собака рычит и, кажется, вот бросится на меня. «Возьми ком земли и брось в нее», — промелькнуло в голове, и лень, лень было наклониться. Я протянула руку, крапива обожгла ладонь. Пригнула ногой репейник и подалась всем туловищем в сторону... В канаве большая собака, зажав между лапами чью-то ампутированную руку, вырывала мясо клочками.

И тут же невдалеке сидел белый щенок. Собака повернула в лапах свою добычу, щенок приблизился, собака зарычала. Свет луны падал на окровавленную торчащую кость человека. Одно движение вперед — и я почувствовала, что я куда-то проваливаюсь, и потом страшный крик, может быть это был мой голос — не знаю, только вслед за этим мгновенно закричало все вокруг, кричали на тысячный лад человеческие голоса . . .

Просторные, светлые, ослепительной белизны комнаты, в которых помещается наш перевязочный пункт и околоток, все больше и больше заполняются больными.

Рядом с моей койкой лежит больной возвратным тифом Ерыга. От него осталась только одна тень. Он поворачивает свое отощавшее тело и впалыми глазами смотрит на меня:

— Ну, как, очухалась? И с чего бы тебя так могло забрать? У меня-то совсем в легкой степени болезнь, а тебя вот подвело. И каждую ночь ты все кричишь со сна и стонешь. И чего тебя, Зина, в бой тогда понесло? Ну, мы идем, — потому самому мобилизоваты, и опять же — начальство гонит, ну, а ты? Тебя никто не неволит. Прямо посмотреть на тебя, как ты тогда перла с нами, ну, прямо как неармальная, прямо неармальная!

— Ерыга, ну, какая я ненормальная? Вы шли — и я шла.

— Неармальная ты — и больше ничего. Потому — огонь, а ты прешь по своей воле. Ну, поищи ты другую такую.

— Еще есть женщины на позиции. Стешу у севастопольцев знаешь?

— Стешу? У, Зина! Стешка баба была для нас, солдатов, полезная. Не то севастопольцы, а и мы ее знали, она баба подходяща. А ты что? Ты, Зина, такая — тебя тронь пальцем, а ты сейчас и пузыришься. А Стешка была...

— Ты говоришь — была, а где она теперь?

— Немцы прикончили. Перешли немцы в контр, стали наши отходить, кто удирать, а кто и задержался, а Стешка все вперед да вперед, ну и прикончили немцы. Шесть штыковых ран нанесли.

— Она в бой ходила?

— Она, Зина, догулялася. Зараженная ходила, ну и порешила с собой, потому самому куда ей теперь деваться? Ни взад, ни вперед — куда ж теперь? Домой ехать — опять же, сама говорила, разбаловалась здесь. Не хочу, говорит, теперь работать. Ну, вот и порешила с собой.

— Закололи?

— Конец бабе. Вот подожди, и тебя прикончит. Так тебе все одно не сойдет. Раз минет, другой минет, а на третий и вдарит. Вот увидишь.

Ерыга крикнул санитара и заерзал по кровати, хватаясь за живот.

Наша палата одна из самых больших. В открытые двери виден коридор, и там справа и слева еще палаты. У австрийцев здесь был дивизионный лазарет. Они оставили нам в наследство складные кровати, тумбочки и маленькие деревянные ящички под кроватью, в которых находились судна. За исключением тяжело-больных, никто не пользовался этой посудой по ее прямому назначению. Солдатам надоел обычный способ умывания в окопах: набирать в рот воды и, выплевывая ее в пригоршню, обмывать лицо. Они выливали горячую воду из грелок больных товарищей, наполняли ею судна и хлюпались в них, обмывая налипшую грязь. Несколько раз санитар делал замечания солдатам, напоминая им, что здесь есть умывальная. Ослабевшие больные не слушали и продолжали использовывать посуду по-своему.

К нам прибывали тифозные и дизентерийные больные, их некуда было класть, и врачам приходилось размещать их в палаты раненых, которых не успевали эвакуировать и они лежали здесь, среди мечущихся в бреду умирающих тифозников.

Последнее время пища стала выдаваться несвежей, пар чая отдавал отвратительной гнилью. Санитар уверял нас, что «в колодцах жабы издохли» и потому чай так скверно пахнет:

— Ничего, ребята, скоро в Калуш переедем, там в кавярне подкрепимся кавой и поедем домой.

— А тебе и не добраться до кавярни, — упа-

дешь. И кофий тебе нельзя пить, потому самому ты бегаишь каждую минуту до ветру, — вставил свое слово Ерыга.

— Вот именна можна, вот именна можна, только при расслаблении живота и пить кофей, нам доктор пояснял, — авторитетно заявил санитар.

Я лежу на кровати, в окно мне видно звездное небо. Промелькнул падающий метеорит. Небольшое облако заволакивает луну, в палате становится темно. У меня опять поднялась температура, опять ссыхаются губы, и во рту такой противный привкус меди и чечевичного супа.

Слышны разрывы снарядов. Разрывы, кажется, на шоссе, это недалеко от нас. Я ясно представляю себе бревенчатую дорогу, идущую нашей улицей, и окраину села Майдан, где дорога идет в гору к шоссе. Шесть разрывов в одном и том же направлении — и снова тихо. На рассвете возле меня топчутся санитары, они поднимают каменное тело солдата. Посиневшее лицо его покрыто красными пятнами. Он умер ночью от перитонита. Он лежал мертвый около нас, и только утром обнаружили его смерть. В коридоре видны «слабосильники», они пришли на вызов врача, им отдают распоряжение, какую и на сколько человек копать яму. Они гремят лопатами и, поворачиваясь, медленно уходят.

Вот уже третий день бьют австрийцы по шоссе. Нам становится странным, почему перестрелка ведется все время в одном и том же направлении. Наши продвигаются вперед, подходит подкрепление, идут ударные части, мимо окон околодка проскакали полки Дикой дивизии.

Ночью прошли ударные части Дроздова. Двое солдат забрели к нам и надрываясь кричали на дежурного фельдшера, прося у него кокаин.

Прошло еще несколько дней, ночные визиты пьяных солдат дроздовского полка участились. Ерыга, возмутившийся однажды криком пьяного кавалериста, схватил свою фляжку и запустил ею в пьяного. Кавалерист бросил бурку и кинулся в палату. Все больные, у кого было хоть немного сил, вскочили со своих коек, и поднялась потасовка. Сбежались врачи. Один из тифозных получил от кавалериста сильный удар в живот. Больной корчился на полу от боли. Возмущенные солдаты били кавалериста всем, что попадало под руку. Свалку прекратил доктор Де-Моррей. Кавалериста арестовали и увели.

Теперь каждую ночь у дверей пункта стоит часовой. И мы не раз слыхали ночью перебранку часового с пьяными ударниками.

В перевязочной бинтовали руку Кривдина. Его указательный палец был откушен немецким офицером. Взволнованный полковник рассказывал

врачам про ночную атаку, когда он остался с кучкой ударников и во время боя столкнулся в окопе с немцем. В завязавшейся борьбе немец, стремясь выхватить из рук Кривдина наган, откусил полковнику палец.

— И вы подумайте, доктор, невдалеке находились солдаты моего батальона, они видели все, и никто не шел мне на выручку. Доктор, скажите, почему мне так больно, почему так сильно рвет палец? Я был дважды ранен, но такой боли я еще не испытывал.

— Придется вас огорчить, полковник. Как видно, у немца были не в порядке зубы. Возможно заражение.

Лицо Кривдина искривилось страшной гримасой. Ему помогли пройти в палату. Доктор с термометром шел за ним.

На следующий день утром Васька, палатный санитар, сообщил нам о смерти полковника.

Полк продвинулся еще на пять километров вперед, нас не успели эвакуировать и часть выздоравливающих перевезли в деревню Вистова. Я поправлялась, и лежание в околотке мне нестерпимо надоело. Проснешься утром, в дверях уже показывается знакомая заспанная физиономия Васьки. Затем начинаются перевязки, компрессы, смазывания иодом. Никто из больных не интересовался жизнью полка и протекающими собы-

тиями — все мечтали, как бы скорее попасть домой.

Если к нам в палату приносили человека с каким-нибудь необычайным случаем ранения, мы немедленно все приподнимались со своих коек и смотрели на человека, как он мучается. Каждый переносил страдания по-своему. Один только стиснет зубы и молчит, а иной беспрестанно зовет на помощь санитара или врача, при этом хватая подошедшего за руку, несколько раз повторяет: «Ой, доктор, ой, доктор!» — или: «Ой, маманька, ой, маманька!» Иногда мы начинали спорить. Не успеют еще внести солдата, Ерыга спрашивает:

— Будет базить или нет?

Ему отвечают:

— Нет, не будет, он с лица сурьезный, и нос у него, глянь-ка, какой прямой.

Снова появляются носилки — и опять с любопытством протягиваются с коек бритые головы.

— А я тебе говорю — сичас начнет орать, потому курносай.

И если солдат начинал громко стонать, зовя на помощь «маманьку», угадывающий громко смеялся, и за ним покатывались остальные. Для нас стало привычным смотреть на умирающих. Всех гораздо больше интересовало, когда Васька Гвоздев объявлял нам меню обеда. Если он докладывал о рисовой каше на обед и австрийской «каве» вместо чая — ему кричали ура, и Васька,

довольный, смеялся. Некоторые устраивали обмен. Кто-нибудь отдавал свой сахар и получал за эту двойную порцию хлеба. Обменивали также хлеб на глоток имеющегося у кого-нибудь рома.

Здесь, как и в Майдане, мы слышали частые разрывы снарядов на шоссе. Неприятель обстреливал эту единственную дорогу, ведущую в наш тыл. Ерыга сделал из этого вывод:

— Вы мне не верите, а я вам снова буду говорить: еще немного — и немцы перейдут в наступление, а мы начнем отступать, потому самому он и пристреливает эту дорогу. Другого нам отхода отсюда нет. Бьет в аккурат по шоссе. Прощай, Зина, твоя Казань, не выберешься отсюда!

— Брось пугать, я уеду и буду учиться.

— Ты уже, Зина, ученая теперь, потому самому ни в каких книжках не написать о том, что ты здесь узнала. Не написать, потому самому книжка от слез вымокрится, чернила размазюкаются, и ничего не прочитать. Я теперь сам все знаю.

Из окопов пришел Сашка и поделился с нами новостями. Его выбрали секретарем полкового комитета. У Сашки на гимнастерке новый бант из широкого куска атласа. Концы банта спускаются у него к поясу. Ерыга подошел к Сашке и, разговаривая с ним, начал крутить красную ленту, сворачивая ее в трубочку. Гусев отстранился от Ерыги:

— Не марай, видишь, новенькая.

— А ты, Саш, без важностей. У меня руки мытые, банту твоему ничего не сделается.

— Я к тебе, Зина, с поручением. Иди-ка сюда. Тебе большая задача. Слушай: ты должна всем говорить, понимаешь, всем товарищам: бросайте позицию, уходите из окопов, и больше ничего. Больше пока ничего, а это ты должна исполнить.

— Хорошо. Так и буду говорить.

— Ну, я пошел, да чего ты смеешься?

— Ничего. Так. Уж очень ты важный стал.

— Я, Зин, человек нужный. Я без важностей, но я сейчас сильно занятый. Я лицо с соответственностью.

В этот же день я выполнила сашкино поручение. Переходя от одной койки выздоравливающего к другой, я наклонялась над больным и шептала ему на ухо:

— На позицию больше не ходить. Всем уезжать домой, и больше ничего.

Некоторые смотрели на меня с недоумением, а другие просто смеялись:

— Вот новость сказала! Старая новость. Сами знаем — уходить надо, вот ты поди на улицу да и крикни всем: «Текайте по домам!» — или открой митинг и говори прямо. Эх, Зинка ты, Зинка!

Я улеглась на койку, и у меня было большое разочарование. Мне казалось, что Сашка дал мне очень важное поручение, а надо мной смеются. Безобразие, безобразие!..

— Зинка, ты чего сама с собой разговариваешь?

— Ерыга, я теперь все знаю.

— Ну, к примеру, скажи, что ты знаешь?

— А вот знаю, что всем надо уезжать домой, и австрийцы тоже — как хотят, так и пускай живут. Нечего им мешать.

— Больно ты прыткая стала! Откуда чего взялось! Нет, Зин, маленько не так. Ты больно попросту хочешь. Так оно не будет. Баржузию надо сначала изничтожить, потому самому они народ эксплантируют. И ты думаешь, так мы на готовенькое в деревню и приедем? Как бы не так! Сами, сами, Зина, пока не возьмемся все враз — так ничего из того и не получится. Врага нашего баржузию надо изничтожить сперва наперво. Вот я действительно все знаю.

— И я все знаю.

— Э, Зина, а ты тоже из господ. Ты теперь спорчена. И от своих малость отстала и до нас никак не пристала. Мы в деревню уедем, а ты в городе кофеи будешь распивать. И ты вот хоть и с нами, а в тебе господские замашки. Я все вижу. Вот, к примеру, так: тебе Наумыч подаст градусник после какого-нибудь солдата, а ты его сейчас обтирать начинаешь, потому самому брезговаешь нашим братом. И опять же ты телом другая, тебя вошь не так тревожит, а у нас кожа грубая, и на наш пот вонючий вошь с охотой идет. Да чего ты покатилась, чего смеешься?

— Ерыга, ну, какой ты смешной! Насчет градусника — ты неправ. И ты, и я, все должны вытирать градусник, потому что этого требует гигиена. А вши, Ерыга, меня тоже кусают.

— Да ты здесь и не почесалась ни разу. Не тревожит она тебя. Нет.

— Я получила посылку из дома, мне недавно прислали шелковое белье, вот поэтому меня меньше и кусают теперь. Вот и все.

— Шелковое белье . . . гигиена, э, Зина, у тебя насчет этого все не так, как у нас.

Я сидела, задумавшись, на кровати. Мне неприятно было слышать слова Ерыги. Через полчаса он подошел ко мне и сказал:

— Брось ты думать-то, чего хмуришься? Ты девка, что не говори, хорошая, потому с нами неразлучна.

Сегодня мы узнали о взятии русскими Калуша. В этот же день на перевязочном пункте рассказывали о погроме в городе. Говорили, будто по улицам города носятся пьяные всадники Дикой дивизии, один из прибывших с позиции рассказывал:

— А они, миленькие, в кружевяных юбках, да как кто в чем был, так и хлобысь с моста в воду. Это, значит, они удирать принялись от кавалерии. Сколько бабья перепорчено, не дай те господи! И галдит кавалерия, по городу носится, нагайкой коню подсыпат и етта по лавкам всюду бегают, добро всякое тащат, и все пьяные, пьяные.

— Ребята, гляди — митинг собирается. А народу сколько! Идем!

Стоит толпа. Шум. Крики. Груда наваленных кирпичей, и на ней Крапивянский. Он собирается говорить, но его перебивает грузный полковник, приехавший из штаба корпуса:

— Солдаты, преданные России, солдаты! Вам известен погром в Калуше, вы теперь сами видите, к чему привела революция. Вы сами понимаете, насколько является необходимым поднять дисциплину. Вернуть право офицерам! В противном случае нас разобьет противник, и вы не сможете вернуться домой. Необходи...

— Не желаем слушать! Не желаем, долой его! Товарищ Крапивянский, говорите речь! — закричали солдаты.

Крапивянский, взволнованный, жестикулируя, обратился к окружающим:

— Товарищи! Вы неоднократно видели за последнее время пьяных солдат ударных частей. Я видел всадников Дикой дивизии, имеющих по несколько бутылок вина в кобурах. Товарищи, погром в Калуше был организован умышленно. Нужно требовать расследования грабежей. Товарищи! Высшее командование нарочно подготавливало, спаивая части, ударные полки для погрома. Разнузданная пьяная толпа грабила население, всадники Дикой дивизии насиловали в Калуше девушек.

К погрому велась подготовка. Высшее командование во главе с Керенским задалось целью спровоцировать революцию, не поддавайтесь провокации! Они, генералы, хотят возврата к старому. Не слушайте их, товарищи!

Капитан окончил говорить, люди шумели. Грузный полковник быстро пробрался к своей машине и под свист и улюлюкание солдат отбыл в штаб корпуса, бросив в сторону Крапивянского:

— Арестуем! Большевик! Арестуем!

— Зина, как он сказал на него? — спросил меня Ерыга.

— Большевик.

— А ты знаешь, что это такое — большевык?

— Нет. А ты?

— Я все теперь знаю.

— Ну, скажи.

— Большевык, Зина, это — большевык, потому самому они, большевыки, полностью за пролетариев стоят. Понимаешь, Зина, большевыки — они за уничтожество баржузии, потому самому они, большевыки, против эксплантации. Я тебе, Зина, могу всякое пояснение дать, потому как Сашка мне все рассказывал, и не без того — сам башку имею. Понимаешь? У нас теперь так — войну долой, по домам расходись. Большевыки нам землю дадут, и чтоб земля была наша — закрепление нужно сделать от врагов наших. Может еще много крови, Зина, прольем за нее и воевать будем, потому самому, как . . .

— Ерыга! объясняй все яснее!

— Ну, вот, говорю тебе к примеру так: у нас вроде как два лагеря, ну и вот. . .

— Слушай, Ерыга, я тебе помогу. Да! два лагеря: буржуазия и пролетариат.

— Вот, вот, правильно, так оно и есть. Война буржуазии, да здравствуют пролетарии!

— Ерыга, а я ведь не из пролетариев, сам надо мной смеялся, интеллигенткой называл.

— Конечно, что не из пролетариев, ты вроде как «середка на половине». А ты, Зина, за нас держись, с полным сознанием за нас держись, потому самому — мы по справедливости, наша возьмет!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Мы проснулись ночью от сильной орудийной стрельбы и клокотания частого ружейного огня.

— Ну, что, разве я не говорил?! Ну, вот теперь ты поехала! Говорил — прощай, Казань!

— Брось, Ерыга, панику нагонять. Еще ничего неизвестно.

На пункте все всполошилось. Быстро натягивали на себя брюки, заворачивались в халаты. Некоторые больные выбрасывали из мешков свои вещи, другие, наоборот, запихивали в мешки казенное имущество. Прибежал доктор Де-Моррей и крикнул санитару и дежурному фельдшеру:

— Седлай лошадь! Запрягайте двуколки! Грузите раненых!

— Как так? Почему только раненых? — понеслись вдогонку врачу вопросы больных.

Наумыч, растерянный, едва поворачивая свою толстую фигуру, суетился по коридору.

— Главное, прошу вас, без волнения! Вставайте, кто при силах, и одевайтесь. Остальные ждите распоряжения, — обратился к солдатам Наумыч.

— Хватит! Уже нараспоряжались! Теперь сами понимаем!

Бах . . . бах . . . тра-тра-та-та . . . — доносилась до нас беспорядочная стрельба.

— Ерыга, я возьму тебя за руку, и так пойдем. Хорошо, ты согласен, миленький?

— Сразу, небось, стал «миленький». И то уж всегда так. Как человеку приспичит, тут тебе и «миленький», тут тебе и «дорогой» — уж такая у человека натура Вот как моего земляка ранило, уж такой он был забиякистый парень, а как ранило, он мне такую ласку отпускает, такой сразу стал хороший, все просил из окопов вынести. Ну, нам с тобой теперь только бы до шоссе добраться, а там тогда айда на Майдан, на Повеличье, на Станиславов — дорожка знакомая. Ой, Зина, батареи несутся! Подожди меня немножечко, балалайку-то я свою не прихватил.

— Да брось ее, бежим скорее!

— Брось, брось, а ты чего за собой сумку-то тащишь? Брось и ты ее! Белье у нее там шелковое — подумаешь! Шелковое белье! Кинь все к чорту! Да застегни рубаху, чего крест-то выставила? Не поможет все одно. Все одно пристукнет!

Тяжело больные плакали, умоляя посадить их на подводу. Матерно ругали уходящих товарищей, ползая за ними на четвереньках.

Мы выбежали на дорогу. Промчалась батарея. Загромыхали по бревенчатой дороге колеса орудий. Галопом проскакали всадники в бурках. От деревни Студзянка участился ружейный огонь.

Мы шли по направлению к шоссе, куда был сосредоточен весь артиллерийский огонь.

Сзади нас показались двуколки. Я увидела на ней Наумыча и санитара Ваську. Вслед промчались на лошадях врачи. Снова грохнули орудия. Снаряды падали на дорогу, австрийцы били гранатами, два раза пропыхтели тяжелые снаряды. До нас донесся шум, затем мы начали различать отдельные крики:

— Ой, не могу итти, возьмите меня, братцы!

— Держи влево, — тут штебеля!

— Сволочи, Крапивянского арестовали!

— Не бежи! Стой, сукин сын!

Мы пробежали с полкилометра — не больше, одно мгновение — и человеческий поток сбил нас с ног. Мы услышали взрыв и вслед за этим страшный раскат.

— Наверное в лесу склады снарядов подожгли. Гляди, Зина, горит!

Я увидела огромное зарево в направлении деревни Гута и Майдан.

— Крымцы наверное наперед нас отступили и подожгли склады. Беда, пропадем теперь!

Раздался грохот нового взрыва. Ерыга вскочил в канаву и потянул меня за собой. Не успели мы туда впрыгнуть, нас примяло несколько человек. С трудом выбираемся оттуда. На дороге беспорядочный топот, взвизги, ругань, неразборчивые команды офицеров, конское ржание. Орудийный залп, проклятое нарастающее шипение снаряда и вспышки гранат.

Мы бежим вдоль канавы, я бросила свои вещи, Ерыга не оставляет моей руки и говорит только одно слово:

— Погибли!

Снаряды рвутся, попадая в гущу обезумевшей толпы. Вой шрапнели и горох свинца хлещет по верхушкам деревьев. Еще выстрел — и опять надвигается ужас... Почему-то хватаешь себя за голову, вся напрягаешься в каком-то непреодолимом желании сжаться, съежиться до минимума. Все замирает в тебе, перестаешь дышать, и болезненно-остро щемит сердце. И, когда изменяется дистанция — снаряды падают дальше, ощупываешь себя и начинаешь свободнее дышать, расправляешь тело и двигаешься дальше.

В лесу раздается страшный рев взорвавшихся снарядов и не смолкает бушующее эхо.

Рассвет. Мы в лесу. Запах гари спирает дыхание. Ухо режет отчаянное ржание лошадей. Лошади не хотят итти. Ездовые бьют их ножнами. Мотая головой, лошади пятятся назад. Их ударяют, они подымаются на дыбы, делают дикий скачок вперед и вновь упрямо впиваются в землю копытами.

Впереди пламень пожара. Промчался всадник, крикнул:

— Кавалерия противника слева!

Людей охватывает паника, артиллеристы режут постромки и, уносясь вперед, оставляют новенькие мортирки. Опять чей-то выкрик:

— Спасайся! Кавалерия!

Напрягая усилия, мы мчимся вперед. Ерыга волочит меня. Я замедляю ход, я зацепилась цепочкой креста за кусты. Ерыга тащит меня за руку. Я с силой рву цепочку, она не поддается, — сбрасываю с себя крест. Близится вой снаряда, я выпускаю ерыгину руку, останавливаюсь, ищу крест у кустарника — нашла. Быстро натягиваю его на себя, догоняю Ерыгу. В это время меня кто-то сбивает с ног, я падаю в канаву, над самым ухом прогромыхали колеса орудий и стук лафета. Я вижу, что мне не догнать Ерыгу, злюсь и твержу, теребя крест:

— Это из-за тебя, из-за тебя я задержалась...

Мне вспоминаются слова Ерыги: «Кинь, не поможет, пристукнет все одно...» Снова сбрасываю с себя крест, но... близко разрывается граната, по ноге ударило... Хватаю себя за ногу—не больно. Это только ком земли. Я разжимаю кулак и снова натягиваю крест. В эти минуты панической суматохи и смертельной опасности я поняла, что тут мне могут помочь только мои собственные ноги и ловкость, которая заключалась в том, чтоб как можно быстрее попасть в канаву, опередить других и там укрыться от осколков. Мои молитвы, которые я шептала при приближении снаряда, только тормозили мое соображение. Алексевнушка и мама часто говорили: «Стань на колени и молись долго и жарко, господь тебе поможет». Ну и в самом-то деле: если я сейчас остановлюсь для молитвы — меня раздавят, растопчут, и я умру. А молиться на ходу — просто некогда. Надо бежать, и все спасение только в моих собственных ногах.

Я вижу рябое лицо Дубело, он стегает нагайкой лошадь. Она пугается вспышек горящих сосен. Дубело замахивается нагайкой над головой артиллериста, останавливает передки — в это время из канавы раздается выстрел нагана. Дубело падает с коня. Слышен голос:

— Так его, так его, правильно!

Деревня Угринов. Здесь я увидела Трофима. Он скачет на одной ноге, упираясь о винтовку. Его

штаны в крови, он без гимнастерки. Трофим не отстает от повозки обоза.

— Трофим, ты ранен?

— Шрапнелью зацепило малость. Зина, Зинушка, как же я теперь домой поеду? Неужели здесь останусь? А Клавдюшка, а Машка с Васюткой? И опять как же к ним без гостинцев ехать? Растерял все деньги, господи, царица небесная!

Через полчаса мы снова выходим из деревни. Кавалеристы поджигают хлеба. На окраине Угринова маленькая хата, около хаты, окруженная детишками, вся настороживишись, словно наседка с цыплятами — сидела у порога галичанка.

Галопом на взмыленных конях с горящими факелами носились по деревне всадники.

— Жги, сжигай все! Пали все до погибели! Поджигай, чего остановился?!

Галичанка опустилась на колени, протягивала руки с мольбой — просила без крова не оставить.

— Без мужика ты, подлюга! Австрияк твой насупротив нас пошел! А ну, ребята, поддай-ка ей жару!

Отступаем дальше. Мы не выходим из огненной подковы.

Дорога идет на Тысменицу. Кто-то из разведчиков говорит, будто немцы уже заняли Тарнополь. Носятся слухи о взятии Волочиска. Из уст в уста передается новость — о нашем окружении. Но никто не задумывается. Все идут и идут. Днем

шарим по хатам в поисках за продуктами. Ночью напрягается зрение, ширятся глаза, ища дороги.

В поле горят хлеба. Я смотрю на стелющийся дым и вспоминаю вчерашний день... Ланью убегала девушка от гнавшихся за ней конных, мчалась среди горящих снопов ржи... Догнали — спешились... Нетерпеливо, взрывая землю копытами, лошади просили ходу. Подтянув брюки, одернув гимнастерку, кавалеристы вскочили в седла. Задержавшимся товарищам бросили на ходу:

— Тю на вас, текайте скорей!

Небо багровело заревом пожара, девичья рубаха — алой кровью.

Близко от дороги галичанин гонит корову с теленком. Теленок перепрыгивает канаву, в это время обступающие обозники налетают на людей, теленок шарахнулся в сторону. Я слышу хруст. Колеса орудия размозжили голову теленку. Корова, вытянув шею, протяжно мычит. Галичанин сбрасывает свою широкую соломенную шляпу и бежит на своих кривых длинных ногах в сторону деревни.

Проехали санитарные двуколки.

— Зин, Зина, глянь-ка!

Это Трофим, вытянув свои ноги, улыбаясь, кричит мне, размахивая рукой.

— Трофим, здравствуй! Посадили тебя?

— Здравствуй и прощай, Зина! Теперь на Расею, в Липки еду, прощай!

Завертелись колеса по пыльной дороге . . . Уехал Трофим . . . Я долго, долго гляжу ему вслед . . .

Хутор Грабич. Прошли пять километров. Полк, от которого осталось не более сорока человек, ненадолго задерживается. Нас обгоняют экипажи. В одном из них сидят Плахов и Бальме. Впереди нас шли кубанцы. Увидев Плахова, трое кубанцев выскочили из рядов и, с силой одернув за повод, остановили лошадей.

— Старые счеты сведем!

— Мы тебе покажем!

— Мы тебе покатаемся!

Кто-то свистнул, затем послышался еще более резкий свист, и в несколько секунд солдаты окружили полковника.

— Коли его, ребята! — крикнул один из ставропольцев.

— Начинай, бери его с пуза!

Бальме стоял в экипаже, его руки крепко держали шашку.

— А ну, ребята, тащи его за бороду! — крикнул солдат.

Плахов схватился за кобур, но тут в один миг солдаты скрутили ему руки и за ноги потащили его к кустам. Глаза Плахова налились кровью, изо рта пеной вытекала слюна. Лицо его было страшно. Полковник тужился и отбивался ногами,

— Коли его!

Раздался вопль полковника, а затем долгое рычание, эхом разнесшееся по лесу, словно оттуда, из лесной гущи, ему отвечал другой зверь. Взрыв смеха . . .

— Готов! Упекся!

Плахова не видно, солдаты, копошась над ним, заслоняют труп. И вдруг меж других голов показался Ерыга. Солдаты, выпрямив спины, отстранились. Ерыга, подняв вверх руки и хлопая в ладоши, свистя, плясал на животе Плахова.

Стянув с Бальме сапоги, солдаты толкнули его в спину и крикнули ему:

— Отчаливай!

Отстегнув шашку, Бальме пошел в сторону леса . . .

Кубанцы и ставропольцы, построившись в ряды, зашагали.

К нам навстречу со стороны деревни Убаювка бежала окровавленная свинья. Животное издавало дикий визг. За ним вдогонку неслись артиллеристы с обнаженными тесаками.

— Лови ее, держи! — кричали солдаты.

Свинья мчалась к лесу, она не переставала визжать. Но вот погоня закончилась. Артиллеристы поймали свинью. Шесть солдат в окровавленных гимнастерках, засучив по локоть рукава, принялись вырезать у свиньи сало. Тупые тесаки наносили животному мучительную боль — свинья уже не

могла кричать, она мотала головой и, оскалив зубы, силилась вырваться. Солдаты, вырезав по большому куску сала, отпустили животное. Обезображенная туша снова пустилась в бегство.

Деревня Слобудка Лесна. Где-то далеко на западе слышна перестрелка. Здесь на улицах не видно жителей. Хаты разбиты. Окраина деревни изрыта мелкими окопами.

Я снова сижу у того же колодца, где сидела вчера. Я проспала весь день и всю ночь в маленьком окопчике. Полк уже был далеко. Я отстала от полка. Утром у меня еще была надежда попасть на какую-нибудь повозку. Проходили части седьмой дивизии. Но их уцелевшие повозки были переполнены ранеными, бесполезно было проситься к ним. Мне было уже безразлично, что со мной будет, самым страшным казалось для меня сейчас — шагать. Я не представляла себе, как это можно двигаться, за кем-то бежать, считать бесконечные километры с неизменным «гаком». Я решила не выходить из деревни.

Подняла с земли фуражку, вышла на дорогу и забралась на высокое дерево.

Проехала патронная двуколка. Быстро прошла реденькая цепь пехотинцев. Вслед за ней прошел взвод кавалерии — это, очевидно, был наш арьергард.

В деревне пусто. Теперь с минуты на минуту можно ждать австрийского разъезда.

Солнце садится за горизонт. Яркий закат.

Пак . . . пак . . .

— Нет, ты окончательно ничего не понимаешь! Беги отсюда! — говорю я вслух — и продолжаю сидеть попрежнему.

Мне кажется, что я превратилась в мыльный пузырь, а в средине пустота. Тонкая внешняя оболочка вот-вот лопнет, и от меня ничего не останется. Вдали я вижу уходящую цепочку серых шинелей. И при виде нее во мне вдруг вспыхнуло чувство страшной, невероятно тяжелой обиды . . .

Я смотрю на дорогу. Показалось облачко пыли и маленькое темное пятнышко. Оно становится все больше и больше. Приближаясь растет, выливается в форму. «Это всадник!» — мелькнуло в голове. Я шире раскрываю глаза, как будто этим можно улучшить зрение. Кружочками складываю пальцы у глаз — смотрю, как через очки. Через несколько времени мне ясно виден человек в темной рубахе. Он размахивает палкой над лошадью. Все ближе и ближе . . . Всадник летит к колодцу, у которого я сидела, и, покрутившись там волчком, снова мчится к деревне.

Все чаще и усиленней бьется у меня сердце — я слезаю с дерева и выбегаю на дорогу.

Как обычно мальчишки подгоняют лошадей, широко расставив ноги, бьет всадник каблуками

бока лошади. Он приподнимается на стременах, и я вижу знакомую, тоненькую, как у стрекозы — талию Ерыги . . . Я чувствую, как спазмы подходят к горлу. Я стою, нетерпеливо бью землю ногами. Кровь приливает к голове, хочу крикнуть и не могу . . . Я переживаю какое-то неизведанное доселе чувство. Я вижу перед собой т о в а р и щ а. Вон он протягивает ко мне руки — я быстро вскакиваю в седло, лошадь поворачивает обратно, мы молча скачем по деревне, молча спускаемся в долину и въезжаем в гору . . .

Я вглядываюсь в горизонт, и теперь мне представилась эта война в образе страшной огромной рожи, искривленной гримасой смерти . . .

Минуя гору, мы въехали с Ерыгой на равнину. Огромная рожа исчезает, расплываясь широкой, глупой, бессмысленной улыбкой . . .

Как в калейдоскопе завертелись, закружились в моей голове картины моих первых дней на позиции. Смешной и ненужной показалась мне вся моя затея, привлекшая меня сюда в первый уход из дома. И теперь, только теперь, в эти минуты, я поняла причину своего вторичного бегства из семьи, тогда еще неясную.

Я уходила к л ю д я м . Я пришла в эту новую семью, и обида, что меня не приняли, бросили — сейчас рассеялась этим прискакавшим за мною гонцом . . .

Мы остановились отдохнуть. Я посмотрела на

Ерыгу. Его щеки были ярки. Маленькие глаза воспалились от ветра.

— Ерыга, ты товарищ!

Я крепко сжала его руку. Ерыга засмеялся, выставляя свои белые зубы.

— А ты, Зина, что думала? Товарыщ — это тебе что? Лишь бы кличка, что ли? Товарыщ—это человек-товарыщ, потому самому он товарыщ.

— Ерыга, а где полк, где Сашка?

— Полк догоним, а Сашку, Зина... Эх, Зина, убили Сашку! В корниловском полку на митинге убили. Ты не думай, он тебя не забывал. С нами хотел ехать, тебя разыскивать, он о тебе у обозников седьмой дивизии расспрашивал. Да не пришлось ему, немедля требовалось на устройство митинга ехать.

— Еры... га...

— Ну, чего ты, Зина! Не реви! Сашка сказывал, ты на доктора будешь учиться. Я ведь все знаю, он мне все сказывал. Ну и будь при своем слове. К нам в деревню приезжай. Не реви, тяжело тебе, конечно, тяжело, потому самому любовь! Ишь, руку-то мою измокрила. На тряпочку — оботрись. Ничего, пройдет. Молода еще — все перейдет. Сашку-то, видишь, при деле убили. Теперь ты принимайсь за работу. К нам приезжай. И так, тебе к слову сказать, человек из тебя выйдет, польза будет, потому самому ты при энергии.

— Ладно... При-е-е-ду!..


ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ
Ф

Цена 1 руб. 50 коп.

Тир

СКЛАД ИЗДАНИЯ
СЕКТОР КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР
Москва, Центр, Богоявленский переулок, 4.
Телефон 2-65-81 и 5-50-80. Ленинград, Ленотгиз,
проспект 25-го Октября, 28. Телефон 5-34-18.